

[www.promegalit.ru](http://www.promegalit.ru)

андрей тавров  
снежный солдат  
книга стихотворений в прозе

поэтическая серия  
«только для своих»

андрей тавров

СНЕЖНЫЙ СОЛДАТ  
книга стихотворений в прозе

Евразийский журнальный портал «Мегалит»  
2016

УДК 821.161.1

ББК 84 (2Рос=2Рус) 6-5

**Андрей Тавров.** Снежный солдат: книга стихотворений в прозе - сер. «Только для своих»  
- Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ» - Кыштым, 2016 г. - 136 с.

УДК 821.161.1

ББК 84 (2Рос=2Рус) 6-5

**ISBN 5-87039-087-19**

© Андрей Тавров, стихотворения, 2016

© Александр Петрушкин, дизайн, верстка, 2016

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## БЕСТИАРИЙ

СОЛОВЕЙ /7/

ГОЛУБЬ /13/

ЕДИНОРОГ /15 /

ЖИРАФ /19/

СИЗЫЕ ГОЛУБИ /21/

ЖУК /24/

КОНФУЦИЙ /27/

ЛЕБЕДЬ /29/

ЛЕВ /32/

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ /35/

ПЕЛИКАН /37/

УЛИТКА /41/

СТРИЖ /43/

БРАЖНИК /46/

КРАБ /48/

СЕЛЕЗЕНЬ /51/

## **ГЕРОИНИ**

АНТИГОНА /55/

ГЕКАТА – 1 /56/

ГЕКАТА – 2 /58/

ДРИАДА /60/

КАССАНДРА, ДОЧЬ ПРИАМА /61/

КАССАНДРА – 2 /62/

КИПРИДА /64/

ОФЕЛИЯ /66/

ЦЫГАНКА /68/

ОФЕЛИЯ – 2 /70/

САФО /71/

## **РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГИМНЫ**

ВОЛХВЫ /75/

ГИМН МЕЛЬХИСЕДЕКУ /77/

ДИКИЙ ЧЕЛОВЕК /80/

КОЛОКОЛ /82/

КУКЛЫ /84/

ПАСТУХИ /86/

СЛЕДЫ /89/  
СОЛДАТ-ЧЕРЕПАХА /91/  
ХЛЕБ АНГЕЛОВ /93/

## **СНЕЖНЫЙ СОЛДАТ**

АВРААМ /97/  
БАЛЬЗАК /99/  
ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР /101/  
ВИДЕТЬ ЧАЙКУ /103/  
ВСПЛЕСК /104/  
ДЕД ВАСИЛИЙ /105/  
ДОН КИХОТ /106/  
КАМЕНЬ /108/  
КОМНАТА /109/  
КТО /110/  
ЛЕВИАФАН /111/  
МАРИЯ, ДОЧЬ ШОТЛАНДИИ /114/  
ОДИССЕЙ /116/  
ОДИССЕЙ – 2 /118/  
ПАН /120/  
ОН /122/

ПЕРЛАМУТРОВАЯ СТВОРКА /123/

ПРО СОБАКУ /125/

СВИНЦОВЫЙ БОЛВАН /127/

СНЕЖНЫЙ СОЛДАТ /129/

ТОВИЙ /131/

СКАЖЕШЬ ЗЕМЛЯ /132/

ШАР / В ПАМЯТЬ О /133/

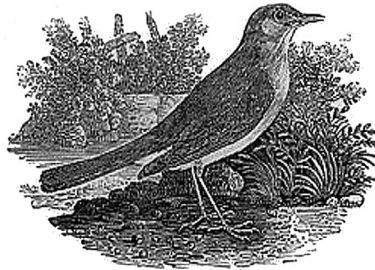
ЯСТРЕБ /135/

## БЕСТИАРИЙ





## СОЛОВЕЙ



Соловей есть соль земли, слюда ока. Есть безумная птица ума неотмирного. Он – растопыренное, как репей, существо, что таращится на город и лес, как рак или рыбий глаз, пока его не выварили океаны. Он как вещи раскиданные по гостинице или взрыв в метро, потому что не видать там самой бомбы и подрывника-невидимки, зато видать – кровь, дым, бегущих людей и переломанные вместе с тряпками и мышцами ноги. И зачарованные люди, в песне внутреннего ужаса, которая теперь охватила их, как тишина и одиночество чувства – разбегаются по сомнамбулической вязи искривленного пространства. После взрыва и увечья – всегда долго длится животная музыка. И еще когда кто-то умирает – долго она длится. Но самого центра не видно. И, ежели сознаться – не интересна нам бомба, всему причина, но интересен гипноз прозрения музыки, вонь тротила и беготня в дыму. Это называют шок. Шок – нежелание видеть причину того, что есть, рождение невидимки и зачарованность своим терновым кустом, внезапно выросшим из живота, откуда еще ничего не росло.

Так он поет. Разбрасывая комки безумия и невесомости, как жидкий цементный раствор, что ляпается на стенку, прежде чем к нему прилипнет смальта цветного вещества. И он скрежещет и хрипит, двигатель вечный крови и кровооборота, шуршит и цокает. Диплодок, ископаемое, он живет с ящерами и каменными плитами, с говорящими известняками дна. Кошмарна древность его, неотмирный ангельский плач, тоненький скулеж, восторженный стон. Вот бьется, цокая, меж столом и ракеткой целлулоидный мячик, все нестерпимей агонизируя, пока не замрет. Вот темная цикада трещит, вот трется о натянутый целлофан шип репейника, гулко отдаваясь в голове, вот сволочь какая-то обмирает и ломится. Но все это уже после взрыва, а сам он – кусок камня. Камень, антрацит, тишина. В камне больше глаз, чем в аргусе, и глубины в нем больше, чем в цветке или колонне. Потому что это камень, булыжник, ничто. Все сжатые кулаки ищут камень-соловья. Но не могут найти, потому что бесстрастен, а не кровь по платформе, не скрип телеги, не вопль девочки с крылышком. Но ломоть того, вокруг чего нарастают ветви, кости, груды и волосы. Смешная тишина, смертельная тишь.

Нет в соловье человека. Как не ломись к нему, не найдешь – в лучшем случае камень, да и тот глубина.

Смерть приходит с кистенем, который та же пригоршня камня. Те же глаза. И когда ты лежишь – белый рядом с белой, или как землеройный снаряд, рыча и сокрушая землю одну белую на двоих, ищешь в ней самого себя, - все то же находишь – безлюдное еще, бесчеловечное, бездушное. Смерть тебе смертному, начало твое бессмертное находишь, пока громяхают барабаны землеройного ковша. Сфингу-соловья находишь, что наводит чуму и ужас одним лишь вопросом – кто-ты? А ты говоришь – жизнь, а ты говоришь – жизнь! Но не в тебе эта жизнь, а в соловье камне, что толкается из кроны ракиты, плещет, талдычит, молчит, как ведро с водой.

Нету у соловья имени. У расколдованного камня – какое имя? У смертника-террориста. Разве не говорит это исчезнувшее имя, что мир не нужен. Ни стаканы его фарфоровые, не плечи, ни деньги и дни с утра, ни бары с бабочками. Ни банки и древесина, ни чулки в угол зашвырнутые. Имя исчезнувшее – каменноугольная жуть родная, детский ужас в мокрых пеленках, заговоривший ковер с узорами, бабай-людоед в черном бархате. Нет имени – нет мира. Только силы остаются, безымянные. Столкнутся, зацепятся, слепят на миг что-то – скажем кузничик, еще сцепятся, закрутятся винтом – скажем солнце, еще пересекутся, взвинтятся, скажем человек. А меж тем ничего нет, кроме твоей воли творить, каменной, словно камень, или рыхлой, как горсть намокшей разбухшей картонки.

Ходит он, убить грозит, вперевалочку, птица сволочная сирий, гриф закаленный, смерд горький. Вынет имя твое – рухнешь в гроб за спиной, всегда там раскрытый, рухнешь стоя, как бард безголовый. А вместе с именем кости уйдут, и Евридика уйдет, и Вика твоя, девка Дарья, и жилы уйдут. А за ними развернется тело твое, молодое, ношеное, восторженное – и потащится следом. Медленно уйдет, как чемодан по перрону.

И когда потеряешь все, поймешь, что бытие оправдано-непогрешимо бытием-каменем, лядщей птичкой, цветком и фонтаном. Если такое есть – значит, само оно – скважина для ключа, откуда бьет луч словно лампочки и говорит тебе – да. Говорит да всей ненужной жизни и пустякам в духах, слизи, помаде. Да – тебе, тебе безымянному, тут же рожденному, червя, совком перерезанному, серафиму огненному. Каждой твоей ночи, каждой юбке с узором, подъезду с бутылкой, кашенке, пляжу, плевку да любви неугасимой, бессмертной, белой. Да. И еще раз. Плечистое, как солнце, как тропа изгнания.

А помнишь – был мальчиком. И бросал камни в девочку с красным мячом. И змею под человечесьим пометом с красными глазами. И машину эмку с раскаленным на солнце радиатором, и белый мост.

Но это только имена, а у соловья нет имени, как у белого тела любви и белого тела смерти, одного на двоих, одной на всех – нет имени.

Только камень – сплошной, непроглядный.

## ГОЛУБЬ



Голубь – что-то среднее между профилем под вуалеткой и пощечиной. Я помню мамин профиль в шапочке, слегка запрокинутый бледный лик с накрашенными губами, дым вуалетки на пол-лица – фотография, которая долго стояла в крошечной комнатке на столике, покрытом клеенкой, где я вывел первые свои буквы пером №1, лиловыми чернилами. Меня эта фотография гипнотизировала и заставляла чувствовать свою малость и никчемность. Я не верил, что это мама.

Голубь говорит курлы-курлы, растет горлом, как чингиз-хан на горе трупов, ходит при этом, а если летит, то в одной руке у него медный шар, а во второй разорванная пополам волчица.

В южных городах много часовых мастерских. Еще там много парикмахерских и пла-танов. И там живут две сестры – Нана и Коринна. Коринна поит голубя из уст в уста, и

он у нее похож на диванный валик, потому что все время скатывается в себя, круглится, а глаза красные, как пробитый арбуз. А Нана – сама голубь, Божья птица, сестричка беспечальница, мертвая да добрая. А не заглядывай голубю в глаза, да не смотри ему в рот – язык у него мускулистый, хлесткий, глянешь туда, лежать тебе, девка, не с мальчиком статным, а в земле - одной. И выходить оттуда лишь раз в двадцать лет.

Помню, как ты вышла, и речку помню со странным названием Бзугу, и фотографию твою из полароида, где ты сидишь на лавочке рядом со стеной Пер-Лашез. Потом мы шли в гору по асфальту между черных кипарисов из пемзы – я на твоих несравненных, а ты на моих натруженных и спотыкающихся. Боже, какие же фонари над нами горели, какие фарфоровые шары! Время впессовано в них, как снег в снежную бабу.

Потом берешь почтара в ладони, а он тяжелый – не то что сизарь-тряпка, а сплошные мышцы. И выкидываешь его в воздух, и все кажется, что это ты сам у себя в ладони, и не надо тебе больше тут, на земле оставаться, потому что Нана уже ушла мучной тропкой по стеклянной дорожке, а поэтому иногда тут тебе лучше больше не быть без нее. Вот и кидаешь его в воздух, отрывая от земли, от времени, словно кожу снимаешь заживо – выталкиваешь вверх, в синее небо и разматываешься в какой-то постыдный предродовой узор, но на землю больше не упасть, нет, не упасть. Ящерица быстрее донесет письмо, чем голубь, но только голубь видит стеклянную тропу и слышит шелест Духа Святого.

Зачем тебе револьвер, если у тебя есть дым от выстрела – дрейфующий в ветре.

## ЕДИНОРОГ



Единорог есть Индиго-зверь, есть зверь Индрик, зверь синевы плеча. Обитает зверь этот на западе сердца, на склоне красном. Сила зверя велика вельми, и когда откроешь в себе его, берегись своей святости и чистоты. Потому что много святости и чистоты приводят в лес деревьев, в коих стволы – людские тела плача. И, странствуя и божась в деревьях синих души своей и тела своего, можешь от святости собственной сойти с ума и воплем изойти, осой стать, жалящей собственную мать в себе, святую свою Марию-Терезу, Зою-Александрю, жизнь твою в формах и изгибах.

Как течет красный ручей по ушной раковине твоей, лепя ее и одушевляя, в чуткость и узнавание возводя, так приходит к ней напиться зверь твой индрик, и что ни глоток, то убывает звезд на небе и прибавляется тебе жизни на ложку. Мягко сей зверь, мягко, холмист, податлив. Вся земля колеблется в нем податливо – червем своим, челом своим, чернью своей ненаглядной, а ухо его землю ловит и землю есть, возводя ее в вечное ее девство, как в белое яблоко.



Охота на сего зверя известна давно. Самолеты, как псы, кружат по траве, рыча и выдыхая сполохи и струи огня и слабости, от которых колена охотников никнут и подгибаются, пока идет рог супротив ружья или взор зверя Индрика навстречь копы. И тогда извлекают деву свою из лопаток своих. Белую и украшенную. Каждый был ей мужем, и каждого матерью была эта дева, и никто не приходил к себе самому, не родившись от ее тишины и глотка тихого с песней и лона чистого, где родники бьют медом и кровью, где синева идет навстречу другой родной синеве Индрика-зверя, зверя лунного, Гавриилова.

И при виде девы, жены твоей и дочери твоей, склоняет он древо рога своего, украшенное мазутом и улитками, аки бархатом и камнями, и никнет рядом с девой твоей и долгом твоим. Засыпает, как проваливается в лунную прорубь. А Луна та с прорубью - глубже всех океанов земли, глубже рта вопящего подмышки твоей, глубже утробы гиены, глубже светил и ужаса полуночного, ибо имя этой глуби – девство.

Ты же – охотник свой. И обязан отохотиться с помощью матери-девы своей и на лунной поляне расprostереться, раскрыв грудь свою белую, неказистую червь лунному. Напитаться составом земли естества, корнем ее и тихой истошной песней, слепленной из синего хрустала и рыбацкой сети, в которой плачет русалка. Ибо как не плакать ей, бедной, когда отрезали ей руки и ноги, и пришел самец и взял ее на столе, а фотоаппарат лязгнул затвором, убив возвращенье.

И когда войдешь, мягко скатившись по хребту Индрика-зверя в сон девы, глубже которого нету, потому что не сон он есть, а ты сам, когда проснешься, а сон – это ты, который плескал свою жидкость и семя в русалку - увидишь, что все было сном, но теперь не стало сном. Что ты проснулся без рук и без ног, как океан синий без рук и без ног, но плывут в груди твоей чайки, крабы и корабли, а сам ты блажен и безгласен, сам ты и дева, и зверь Индиго.

И ты идешь тогда к крылечку и окошку за пирамидальные тополя мальчиком, где сестра Люба сидит, Крысы сестра, в окошке, и загар ее позолотил от коленки до выреза

платья, а вырез бел, где края ее кожи, румяной и словно бы огненной. И засмотришься ты на перси ее молочные, никогда как прежде еще не смотрел. И стрекоза сядет тебе на плечо, а шершень на лоб. И так ты будешь стоять и слушать, как чиста сестра Люба, дева восхода. Как сидит она на подоконнике, древе темном барака, в шуршанье теней, в стрекоте цикады. Иловишь тогда воздух отрезанными руками, как деву, с места не сходя, и летят самолеты из твоей груди, крутя пропеллерами из олеандра.

А Цилинь проходит рядом, идет по городу, не бери, говорит, сестру Любу в жены, но возьми ее всю, с души начиная. Потому стань сначала никем и ничем для нее и себя. Пророчь времена и глады, и трус, и судьбу. Гладь буквою изощренной власы ее, словно гладишь времен листвяной хребет, создав колодец свершений, битв и вопли гиены, и водопад. Умри, говорит Индриг-зверь, Цилинь-бестия, потому что родился Кун-учитель, смотри, как восходят небеса, как бы занавес на восходе, как ничего от тебя не скрывают ни мидия, проросшая на локте твоём обцарапанном, ни рог Моисеев да Конфуциев.

Возьми ее сонную, протеки в нее сном и шумом моря, как течет морфин мимо синих жгутов, как плещет напрасно, свиваясь во влажные млечные звезды – Астру, Сим и Кессиль и Стрельца на цветке. Плечи в нее языком и лапами, отзовется в тебе язык ее, речь ее, коса ее.

Сила и похоть распространяются от терпкой звезды, от рога твоего: сила – мальчик с обручем, и похоть – бабочка с бивнем замшелым. Но нет чище света, когда сии две уравновешены. И нет чище буквы, которой ты стал, и нет чище объятья, которое отрезает от себя свое и ее же тела. Дыши объятьем без тела, чти сострадание, ибо это синяя кровь твоя, кактус души твоей, степь ноздрей трепещущих, филин зябкий гортани. Нет ничего сострадания выше. Ни горы нет выше, нет ни звезды. Ни Древа, ни острова – лишь София превыше, но равночестна с оным она в синеве.

О, зверь, из себя выходящий, фалл золотой духа, трепет мускуса и сандала – деторождение другого, деторождение мира. Каждый миг, каждую ночь, каждый вдох рожда-

ешь ты деву-землю. И как, муж островов, глагола Доген – 700 миллиардов в секунду – число колебаний чресел твоих, выброса гари и звезд и пречистых сосновых огней, и шлака в снегу - в пречистые ложесна.

Сострадай, и тогда не будешь, и тогда зачнешь и очнешься. Сострадай зверю, деве и птице. И Любе сестре и Крысе. И обгаженной, словно золотом, простыне и месячным женщин, и колебаниям земли, и приливам пустыни. Отдай себя состраданию без рук, но токмо с огненным рогом одним, лунным, жестким. И да хранит тебя Цадкиэль, бурный архангел.

## ЖИРАФ



Пойдем, пойдем. Туда, куда смотрит твоя длинная шея в проплешинах – в синий короб с воткнутой в него чайкой. Там же, в коробе, цветет пион и вращается голова Иоанна Крестителя. Она сделана из стекла – вся из стекла, одни глаза сделаны из глины и белка. Голубая, она вращается, и короб неба, словно целлофан на голове самоубийцы, то прилипает к ней вплотную, обозначив тонкий нос, то отлипает и снова становится огромным бескрайним небом, засыпанным алмазной пылью, в которой заблудилась чайка. Пойдем, пойдем, еще дальше, еще выше – по этажам шеи, пробивающей ветви и пласты известкового неба.

Ты уже вложил кулак ему в сердце? Теперь разожми пальцы, и ты почувствуешь, как они превращаются в пятипалые каналы, через которые жираф то становится твоей рукой, то выплывает из нее снова наружу и бежит по саванне. Но даже тогда, когда он колеблется вдалеке, словно треножник, утративший окостенелость своего позвоночника, важно колеблясь, как огромный занавес в тихом сквозняке или медуза в накате – даже тогда твоя рука живет в нем. Она, конечно, есть и у тебя, шевелится, круглится, но теперь она уже не твоя – его. Лицо ты вложил в глину, а руку в жирафа. И теперь ты лежишь ничком, продавив влажный пласт, пахнущий гнилью, и отдав земле свое красное лицо, потому что ты взял его от нее и вот теперь отдаешь.

Ты лежишь в комнате, где дверь полуоткрыта и скрипит в ветре, и время от времени в нее входит мальчик, которого ты не видишь. Он ставит тебе на спину заводного клоуна, запускает механизм, и игрушка начинает дергаться и сучить ногами, словно краб, отбивая удары литаврами. Потом мальчик берет отработавшего циркача и уходит. А потом приходит снова, и снова клоун стучит в свои серебряные тарелочки.

Но рука твоя уже ухватила сердце бегущего пятнистого призрака, скусывающего с неба гвоздь. Раньше ты думал, что на гвозде держится само небо, но теперь знаешь, что и не небо, и не смерть даже, а какая-то белая салфетка. Такие иногда ставили на столы в рабочей столовой санатория Министерства Обороны. Такие тянулись за солнечными прогулочными катерами, когда они отшвартовывались от длинного пирса в деревянных рейках, сквозь которые плескалось небо внизу, под ногами.

Разве не ясно, что жираф - это взрыв смеха, приглушенный, живой, пробивающий тебя, восходя до звезды. Ты одет на этот смех всей своей плотью, которая теперь с ним одно. Он вздымается хрустальным водопадом, фонтаном, никогда не опадает.

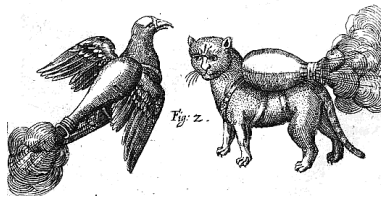
Смех бурлит в небе, ты в нем стоишь.

Никуда не надо идти – все здесь, все пришло к тебе. Трубачи, повара, мама, Витик - первая скрипка оркестра Силантьева, выбросившийся из окна без нее у подбородка, тетя Густа, летучие мыши, бабочки юга, Адам. Все они здесь, потому что ты вложил руку и голову. И небо дрожит от твоего смеха, а ты уже распался, порвался как мутный целлофановый пакет и наклеился на небо созвездиями – Центавром, молочной рекой.

Пей молоко, пей. Млеко полей росистых, нездешних. Влагу жирафью, лишеную смерти и слова. Ах, что за влагоносный, что за нездешний зверь! Из ноздрей летит пламя, из глаз растут забывки. Небо прислонилось к шее сразу со всех сторон.

А ты спишь на раскладушке рядом с пустым бассейном, уставив в небо немигающие глаза.

## СИЗЫЕ ГОЛУБИ



Когда поверх прозрачного занавеса перед глазами возникает еще один прозрачный занавес, а потом еще один – и так год за годом – то со временем появляется препона между тобой и всем, что бы ты ни видел или что бы с тобой ни происходило. Например, между тобой и Большим каналом с гондольерами или с катерами, или между тобой и чашкой кофе, а напротив - матовым женским лицом. Все, что было раньше, теперь уже само по себе быть не может, потому что все, что было раньше, один или два раза уже было, вот и образуется этот самый туманный занавес, и поэтому иногда становится очень страшно. То есть, вроде бы и бояться нечего – но становится так страшно, что иногда хочется кричать, а иногда не хочется, но все равно страшно - понимаешь, что то, что есть, теперь находится внутри того, что было – а это все равно что обнимать облако, а не любимую женщину.

Самое непонятное, что со временем не хочется помнить ни определенные лица, ни определенные дороги, ни как снег летел впервые в жизни, когда толстые снежинки вращались, падая и поблескивая в фонарном свете над трамвайной линией, ни всего остального. Ты так всю жизнь трясся над тем, чтобы пережить главное, чтобы не пропустить, услышать, наконец, главное, так ждешь этого, а потом происходит, что тебе это уже все равно – одним обмылком на раковине больше, одним меньше – все равно непонятно, зачем надо мыть руки еще раз.

И вот стоишь на автовокзале во Владимире, снег сыплет без передышки, на асфальте лужи. Рождество. Сверху, в Успенском храме, звонят колокола, автобусы подъезжают и отъезжают, по громкоговорителю что-то говорит неразборчивый женский голос, люди становятся в очередь, а потом дверь закрывается и автобус уезжает в Муром или еще куда. И все это не то чтобы марево, но непонятно, зачем происходит.

И тут под этим самым мокрым снегом замечаешь сизых голубей. Сизые голуби ходят рядом с ногами и становятся все плотней и достоверней – они словно все уплотняются, словно намекают на какую-то свою внутреннюю загадку, ходят туда и сюда и через несколько минут становятся плотными, как ядра. Становятся такими плотными и огромными, такими внутри сжатыми и снаружи округлыми – как те ядра, которые лежат рядом с Царь-пушкой в Кремле.

Они ходят, и это самое главное, потому что недостоверный пейзаж с мелькающими снежинками, лужами и соборами наверху и со стеклянной дверью в кафе автовокзала больше тебя не тревожит, пока есть эти голуби. И то, что на тебе надето несколько пальто, и несколько автобусов едут в разные стороны, и ты сам вместе с ними похож на рыбий пузырь – полупрозрачный и легкий – уже ничего не значит. Они ходят, словно пожар Тамерлана, словно та фигура, которая мерещилась пальцам все детство, особенно перед сном, но так и не появилась, не прощупалась, не сложилась. Почти дающаяся, почти непререкаемая, сладкая и постыдная - все ускользала, сама в себя не свернулась, как эти вокзал, купола и холм вокруг тоже не свернулись, а сизые голуби все ходят и ищут чего-то на мокром асфальте.

И ты говоришь – вот! вот оно! - сам не зная, что говоришь, но убежденный, что тебе открылось такое про голубей и мир, чего раньше ты никак не понимал и оттого мучился про всю свою условную и призрачную жизнь, разросшуюся вокруг тела, словно огромный фантастический гриб – всеми этими городами, речками, улицами и людьми, и вот ты говоришь – вот же оно, вот! - но что оно и что вот, так и не можешь понять.

И так и стоишь и смотришь на похаживающих сизарей, а снег все сыплет и сыплет, мокрый и мелкий, и ничего не происходит. И ты стоишь теперь прозрачный, как стекло, с зажатой стеклянной фигурой в кулаке, которая постепенно увеличивается, и ты теперь только малая ее часть.



## ЖУК



В комнате, освещенной луной, ты встаешь совсем не для этого. Ты еще помнишь, как сюда пришел и как светились за окном лунные клубы пыли над шоссе, пробитом в горах, а ниже под верандой крутились вентиляторы и вставали две трубы электростанции, шлющей свет в горные поселки, на побережье розовых губ и глассеров. Не для этого, но вот он ползет рядом с твоей босой ногой по холодному полу, не прикасаясь к плиткам, черный, рогатый, и ты ловишь губами и животом его скрежещущую форму, которой он будит ангелов и пушки, ржавеющие вместе с трубами моря. Наклоняешься – и он ползет все быстрее – головогрудый, лакированный.

Я пришел к нему, а думал, что пришел к другому, что не для того пришел, не его хотел встретить, а может быть, себя самого, как бывает, когда бредешь спросонья из сна в сон через туалетную комнату с ослепляющим ненадолго светом, чтобы выпасть из него обратно в сланцы забытья.

Разве не так же приходишь к белому животу, а его не находишь, потому что внутри ползет краб или летит какая-нибудь фигура вовсе без крыл, чтобы остановиться в белом животе и там жить, пока ты бредешь из белого живота к белому животу - единственная тропа кратковременной и мшистой, как ствол бука, жизни.

И не хочешь вспоминать, что там было днем, когда вышел на зеленую поляну, перегороженную на середине забором, и ахнул, потому что остался деревянный дом, куций, срезанный сбоку барак, но все еще с тем окном, в котором сидела девушка в платье в выстиранных цветах и глядела на тебя розами и щелочным мылом. И теперь окно, не очень даже прогнувшее и со стеклами, не умещается в объектив фотоаппарата, потому что девушка лежит дырявыми костями, из которых в Африке делают дудки, а значит, не лежит, а летит, потому что воздух.

Люба ее звали, и была она жарка и загорела, не сводя с тебя глаз с синим белком телки, а между теменем ее и пятой натянуты хорды и струны, и тебе нейдет в жарких своих пещерах, и дрожит нога, напряженная велосипедной педалью.

Днем вышел на зеленую поляну, перерезанную забором посередине, а как заглянул за забор, забыл все, кроме своей груди, куда вставили аквариум с синей рыбкой и вынули, чтобы была там одна холодная и стеклянная пустота, которой не обхватить руками, как то, что ты увидел там, за забором, и как оно топорщится и скрежещет, готовится заплакать и укусить, выставив громадные рога и перебирая лакированными ногами.

Правда ли, что жук видит все – и аквариум в груди, и девушку любу с загорелой грудью и полной ногой, балансирующую в выстиранном коротком платье на подоконнике сохранившегося окна? Правда ли, что он скрежещет и становится твоим черепом, о котором все знали, что он – жук, кроме тебя и еще двух-трех ангелов с петушиными ногами и красной глоткой?

Вот и бредешь, смыкая глаза к постели, теплой, глубокой, но колен не укрыть, потому что короток плед. А кто же, кто нам еще сыграет «Маньчжурские сопки» на своем трофейном аккордеоне, когда все разошлись по углам? Не ты ли, Безымянный, сейчас напирал на мою грудь, как толща воды на трещину рыхлой Асуанской плотины?

Я стою, твой матрос. Плыву по земле брассом, ссаживая коленки, срамное место. Выньте жука из ночи - увидите, что вы совсем не тот, кто вы есть, и песня поет о другом, и это не убитые русские, а бабочка спит на маньчжурских сопках, огромная синяя Психея, пахнущая голубем и борщом, а баба все воет по мужику.

## КОНФУЦИЙ



*память И. Семенова*

Почему ты – Конфуций? Заросли малорослых кедров на южном склоне, где она лежит, и зубы блестят в тени с золотой ниткой фонаря. Или еще можно войти в облако пыли – грузовика, «виллиса» – как оно поднимается в воздух, свивается в человека, покрывает рожа и синий цикорий! А философ идет по пути, от тела бегут поврозь невидимые нити, натянутые леской с блестящими каплями – в каждой разглядишь себя, и озеро, и облако над головой в синем небе. Не думал прежде, что полюблю философа в леске, а вчера умер И-С – музыкант с солнцем матросской бляхи на осе и талии джинсов, и ясно, что И-С и Конфуций – одно золотое дитя. И-С плывет по влажному небу, мы пьем с ним вино, голые длинные ноги в порно-журнале – сияют как солнце мертвых-живых.

Ничего не скрываю от вас, дети, ни зеленого жука, ни длинных ног, ни уборной с мокрым цементным полом, ни подростка в трусах по колено, ни самого себя. Я вложен в И-С, как он вложен в свою ветвистую смерть, а тело его нарывает в подземном челне. Мы путешествуем вместе, потому что земля состоит из нас, а мы из воды и тропинки.

Катышки пыли в мокрых ладонях, марихуана в гильзе «Беломора», трамваи в сирени, да Учитель - вязкий, оса иль серебристый челнок швейной машинки, с которого тянется белая нитка. Вы сшиты из Ли, ритуала, не теряйте его занебесных цветков, мокрогубых артерий, цементных одежд, синего неба правды.

Во что мы свились, уплотнились – не в трепет ли безымянный, не в вилку ли ласточки, не в белое ль ее, словно вынутое, звонкое горлышко?

Смерть себя изменяет собой, есть в ней, едет автомобиль-Победа, бежит, пыля, носорог, пушки мертвецами стреляют в море, синяя шаль с твоего плеча тебя обнимает. Когда Кунцзы отходит ко сну, принимает ритуальную позу, как будто твердая ветка под фонарем, чтоб не казаться мертвым другим, а разве мертвым можно казаться?

Когда умираешь-растешь, и душа твоя стала паровозом на ночном полустанке, где репродуктор бормочет, кто за тебя скажет мертвое дело и слово?

## ЛЕБЕДЬ



*Вячеславу Гайворонскому*

Как ты к нему подходишь и как ты с ним, каменноугольным, трепещешь. Как ты с ним снимаешь с себя каменные лепестки розы, как отваливаешь, отрываешь. Ибо горюч он и липок, под языком его жалом – лобзания неутомимые, огонь поядающий, устье пламенное. Гулькини ему, проговори – он ответит. Только призови – пойдет на тебя стогом сена, рассыпая в пути свой тростник-солому вместе с запутавшимися грозными, бескожими уже любовниками на своем слоистом, соломенном, жарком хребте.

Пойдет, вздрагивая плечами, клинком сверкая, кровью облитым, трепеща лапами, галошами красными. Следы зальются ржой да золотом.

Черный он, как чело конголезца, как челн Харона-портного, черный он. Белый, словно червь под корой, словно кожа в луне - на ней негашеная известь. Словно глубь кододца с нефтяным дном, отверстым, липким, угасшим.

Ах ты, тварь, ах ты, убийца, совратитель детей, ловщик тигров крылатых. Что делать ты будешь, зверь, с заводной куклой, с пружиной ее, с губами говорящими, нежными. Целовать, говоришь, ребра выламывать, сачки из них делать для ловли других кукол-бабочек? Вот лежит кукла вдоль – все холмы, да уста, да поляны. Нет ее на свете длиннее, куклы полноногой, молчащей, с мертвой водою во рту. Леда из льда, с губами нежными, руками-рыбами.

Возьму куклу на руки, отпую мертвого друга Патрокла, а трубу его золотую вставлю себе в плечо вместо губ, губы плачем заняты да поцелуем. Пусть труба поет по Патроклу, по другу, пока уста мои деву тормозят, деву целуют, деву нежат, убивают.

Пусть поет труба по льне, Лене, солдате с пушкой, танком раненным, застреленным, но воскресшем в донских степях, алкоголем убитым да туберкулезом. А на Дону лебедей, что лодок, что их скрипящих уключин, что их поющих весел в мозолях! А по Дону-реке мы все плывем, по реке – тела белые, голубые. Плывем да поем свои песни Соловецкие, лебяжьи, порохом, как тело в поле, присыпанные.

Пусть поет труба по Путивлю-Ростову, пусть тычется мундштуком в плечо, пока лечу я по небу, целую куклу свою, друга своего заводного милую, любя.

А кого мне Бог дал, как не тебя, друг мой Патрокл, да отца Лена?

Вот и хожу я в рыданье сухом, вразброс, вперевалку, свистя крылом своим неодолимым, смертельным, и нет на земле меня свирепее, сильнее. Вот соберусь умирать, как вы – и поймет земля, что в смерти моей ее жизнь, всех жизнь спешащих голуб да ручьев, и звезд - лютых пророчиц тоже. И колонн, и колодцев, что вверх и вниз простерлись, разбросались. И девы любой, мужа любого, что смеется и жалуется или просто сопит от беды.

Крепок я, смеюсь над ручьем, запрокидываю красный клюв, а ветер стоит в нем, как в самолетном моторе грохот и вой. Припадут ко мне девы в плаче, троянские, шерстяные, шуршащие, в снегу да березе, и тогда вырву клоч чернозема из-под длинных их сильных ног, чтоб было куда падать черному страху, чтоб била нефть из земли и горела над ними.

И под перьями моими город во льду и в танках. Входите под перья мои, покуда смеюсь я хрипло и звонко, отхаркивая жизнь вашу, как мясо мидии, летящее из черных лобовых створок.

Рассужу вас я криком и хрипом. Рожу вас заново, одену в чулки и короны, в ночи и дни, положу деву под мужа, выведу отрока из чрева во всеоружии меча, нагана и слова. Новых богов сотворю в ваших погасших глазах, в их скорлупе, выеденной мальчуганами-людоедами, сквоззяками московскими.

- Эх, эх, - кричу я, переваливаясь, чтоб не попал в меня жалкий охотник дробью да кровью. Мир творю из лопаток твоих, серебряная рыба, девочка злла, парнокопытная, длинноволосая, с пальцами короткими теплыми. Девочка злла танцует в деревянном восьмиграннике, пальцами по спине перебирает, а в подвале восьмигранника мальчик невидимый гадит, светел, жемчужен. Муж и жена они будут – там, где плеск и окуни, где кончается город и берег.

Всю черноту свою слили колодцы воедино, влили в меня, как в стакан, все молоко разбрызгали козы с коровами – зажгли в глазах моих звездами. Тиной разит от меня, гнилью, любовью. Звук набухает в селезенке вещей моей, ком нефтяной, логос огненный. Как мешок с кулаками, набит землю до горла, живу я, рождаю травинку из ока – длинную, тонкую в ветре. Хожу, как беременная, кренюсь и стараясь, на лапах красных-галошах, лечу элохимом в бурю да в снег.

Все ваши судьбы записал я на коже моей изнутри золотыми чернилами. Крикну от боли - и нет судьбы, а взамен – другая запись, про девочку зллу, про короб света. Про друга да про отца моего – бога вашего, вами убитого, дождем, как землей, засыпанного.

И теперь плачу во трубу во серебряногубую по всем убитым, по всем желанным.

По всем, кто ноги раскидывал, по всем, кто ребра сжимал, кто слезой обливался, в слезе горел спиртом да водкой. По рже ржавчине, по убитом солдате, по живом пастухе.

Эх, пригоршня воздуха, изношенный лебедь – ничего, кроме песни!



## ЛЕВ



*Вадиму Месяцу*

Лев есть царь крови. Кровь же твоя многоструйна и раскидиста, как шелковица над южным в чернилах асфальтом у магазина, где все время пахнет чем-то тяжелым и никогда нельзя определить чем. Она шевелится красными дельтами и капиллярами у тебя под кожей, образуя намагниченный улей в полете. Если вдуматься в этот улей, обретишь льва, мощь и достоинство. Если намагнитить красное дерево крови под прозрачной своей кожей, не будет тебе равных в стрельбе, стихосложении и любви. Лев твой, царь крови, всегда при тебе, выходя на охоту вечером, когда полумесяц воткнут в край степи, как оловянная ложка. Это лев твой воткнут в тебя, разбивая твоих врагов, золотя зрение бесконечностью океанических кораблей, стреляя запахом псины и ладана, прохваченными ртутью и визгом плоти.

Лев твой движется и недвижим одновременно, словно спящий в самолете, летящем над океаном. Лев твой внутри и снаружи, но запомни, что внутри важнее, чем снаружи, потому что главное мира расположено у тебя под кожей, неважно, лев это, бабочка или женщина –

все это ты сам, и нет в час льва двоих или троих, и нет команды или корабля, но лев это и есть ты и женщина, и ее горячее чрево, тебя рождающее под вопли кошек и хрип Левиафана, под смрад умершего на чердаке бродяги, чей язык уже жрут черви, а в лифте стоит его смрадный двойник, не давая живым забыть о том, куда идет их тело, влача за собой истошную душу.

Все главное зиждется под кожей твоей.

Как снаружи - так и внутри.

Двадцать лун в ущербе заходят в тебя вместо когтей вместе с хрустом песка пустыни, вместе с щебнем и битым камнем.

Нежная дева раскрывает на карте зев льву, а ей раскрывают зев ее мужа. Сила твоя в слабости, а слабость в силе.

Нет у льва победителей, как и у дирижабля, потому что кто может победить каплю, растаявшую в океане, объем воздуха, растворившийся в небе, кто осилит язык пламени и дерево крови. Нет у тебя ничего роднее его, и душа твоя поет и кричит от свежести утра, шелканья пригожей птицы и запаха срезанной травы, когда ты пасешь внутри себя льва и пасешься внутри его всей своей ложной жизнью, оставленной, забытой, отринутой на время воздуха льва. Он трется о твою кожу изнутри, шелестит, как песок, рыкает и глаголет, высится, щелкает и свистит.

Поклонись льву, мальчик, вложи голову в аквариум вместо рыбы, войди в стеклянный турникет за толпу – по очереди самого себя. Слышишь ли ты, как ты рычишь и скрежещешь отныне? Нет тебе равных. Ибо кто возьмет твое золото? Кто одолеет твой коготь? Кто заглянет в твой серый глаз и не умрет?

Вот шествует он, завиваясь в силу неистовых прядей своих, вот обвила его молодья, как чулок капроновый, вот сошлись у него за гривой материки и снова разошлись.

И когда дева твоя придет к тебе, обнажитесь оба. Посади ее себе на колени, обними сзади и пусть у вас будет одно на двоих дыхание – дыхание льва. Смрад и амбра.

И поверь мне, взойдете на красное дерево вместе, раздирая воздух вашей общей  
кожи клыком и когтем.

Блажен царь твой лев, возвращающий пули убитым охотникам, а мощь и кровь –  
Марсу в лиловых потеках войны.

Кто истощит свою нежность на льва своего – будет бессмертен.

Лев твой – мальчик созерцания, отрок тайного взгляда.

Слишком сзади его золотая грива, слишком далеко ушла назад, и от этого, не пле-  
шивый, плешив он – прокаженный провидец.

Вложи его коготь в язык свой и учи великое имя Эхейе.

А также имя матери, лодки и гроба.

Ибо свиньи сожрут тебя, хрюкая, щерясь и сгрудившись в ряд у края его. Блаженны  
вы, лысые дети праха, и я, пожираемый вами, освящу вас – я, лев.

Придите ко мне, слабые и отчаявшиеся, и я научу вас войне, заключенной в покое,  
штурму в спящем глазу, победе в поражении.

Однажды дева стала моей женой, и, приняв вид юноши, я бродил с ней по городу.  
Я помню шрам у нее на лоне, я помню свистульку пастуха, рыжую жару и вынутые, как  
шнурки, сухожилия Зевса. В фонтане купались дети, и по городу шли машины как при-  
зраки. И все это создал я, как дворец из песка, а теперь вложил ключ в ее руку, чтобы  
она разрушила дворец из песка. И все это длится, пока дышит прибой водорослями,  
тлеют в лампах манекены, хрустит, аки снег, глянec обложек.

Я длился, не начинаясь. Есть птица – будет море. Есть пространство будет речь.  
Есть свиньи, быть гробу пугу.

Я лев твой и кровь твоя. Войди в меня и затвори дверь. И мы выйдем с другой  
стороны, где голый мальчик глаголет словеса неизреченные, и на левой лопатке его, на  
красной родинке мы уснем и проснемся.

## ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ



Маленький человек, зачем ты влезаешь в ухо единорога? Шепчешь ему деревянные слова, кирпичные колдовские словечки, похожие на досточки-плашки, которыми устилают крышу, и потом они темнеют. Так и ты, маленький человек, потемнел, высох, только глаза горят бледно-красным, как арбузная мякоть. Ты все еще хочешь что-то сказать лунному зверю с козлиной бородкой, что-то ему выплакать, на что-то натравить? Не могу разобрать слов твоих, но единорог может. И он встает и бежит на лунную поляну и там падает, подогнув передние ноги, уткнув рог свой в землю, а мухи, отсвечивая рубином, кружат над ним над лунной поляной в узлах-корневищах. А ты все шепчешь ему, шепчешь.

А тогда, на другой поляне, когда над вами переплели ветки низкорослые южные кедры, а ее зубы светились в белом оскале, что было такого, что запомнилось, кроме этих белых лунных зубов? Лай собаки внизу, там, где металась летучая мышь, словно она в огромной бутылке, а не в гулком небе. Потому что та, что лежит, безволоса – ведь

волосы прорастают из женского вопля и женской руки, прячущей голову от черного зигзага и кожного плеска перепонки.

Но сколько бы их ни прятать, все равно придет черный маленький человечек, заберется в ухо и зашепчет, зашепчет. И тогда тебе ничего не останется, как вскочить на ноги, одержимой сумрачным чудом подступающего видения, и бежать к морю, чтобы утопить в его черноте безвозмездную мощь непереносимой жизни и выплыть наутро белым плотом или серым дельфином.

Покачиваясь на шаткой волне.

## ПЕЛИКАН



Пеликан, пеликан! Птица с белыми плечами, вынутыми из тела, положенными в крылья для ветра! Ходишь, их разнеся отдельно вокруг себя, выставив не выпуклые углы крыльев - мужские плечи свои, переваливаешься. О, птица! Откинута голова твоя назад, словно рука метателя копья, откинута перед броском в разбеге – вот сейчас сорвется, ударит. Облако, сошедшее с неба, земля дала тебе когти и клюв с закорючкой, чтоб удержать, чтобы белый пар не поднялся и не растаял в небе, чтоб зацепился о землю. Или не копье, но уткнулся ты клювом в неведомое и стеклянное, что мы не видим, вот оно-то и нажимает на голову-шею, толкает клюв твой назад. Кто же там есть, не угадан? Стеклянный корабль или лоб из стекла? выдох стеклянный? Или стеклянный мир, который такой же, как наш, но невидим для нас, потому что он тоже мы, а стеклянным глазом не увидеть себя.

Нефертити, замотанная в саван и ленты, опочила в мешке, в гамаке, серебристой коже под клювом твоим, стала меньше она – ты стал больше, пирамида вас уравновесит. Два пеликана – два тайных зигзага гвардии гиммлера, зигзаг твой и руна в тебе.

Потеряла Аталанта яблоко, нашла, схватила - превратилась в птицу с мешком, в мешке ее быстрые ноги теперь - не может бежать, ковыляет, а бег и ветер в крылья ушли. Собачьи крылья, к земле прижатые, нелюбимые.

Ах, не Пеликан я – сила! Не мешок для рыбы храню я под клювом, а бицепс, что вырастает в нем каждое новолуние, ширясь вместе с Луной, бицепс Геракла. И тогда крушу я витрины, угоняю мотоциклы, на плечах несущее городское небо с мертвыми девами, с манекенами и парфюмом. С простынями, ногами, с пробежкой среброкрылой вонючей крысы под фонарем. Светится след ее от мочи и урана. Тянется хвост по коже спящих, утром встают они с татуировкой, что выступает в новолуние, в трех четвертях исчезает. Там же, где Моцарт, крыса живет в Вене, под жеманной скамейкой напротив женского монастыря, положили меня венские розы с головою дитяти-дауна, со звезду - силою полыханья. Смотрят в меня чешуйчатыми глазами, душу шевелят, как щипцами поленья камина.

Смотрят, пока не стану я ими – розой чешуйчатой, умной, свирепой, как даун дождя.

Луну храню я в гамаке под клювом, выращиваю для неба, от клинка узкого до монгольфьера шаровидного.

Расстели меня по небу, королева конго, расстели меня, птицу. Над нами стеклянное небо, рядом холст со златобедрой натурщицей, краской пахнет, магнитофон на полу играет, трамвай за окном селезневский грохочет, колени – белые изоляторы в проводах. Слышишь, взлечу я, плечи мои сильнее твоих колен. Тогда-то и стал я растопыренным пеликаном из божьего голубя, когда переплелся с тобой, королева конго, под музыку с пола, и выдавились твои колени, раздвинув, как воск, голубя - в белые плечи пеликана, и нога согнулась зигзагом, в зигзаг уложив горло мое голубиное.

И вот стал я на тебя – себя больше.

Нелепы мы двое, мы – Пеликан. Переплетенье стекла и мышцы под стеклянным небом, небом мансарды в скипидаре с холстом.

Помнишь, мальчик, в шлюпке их везли к берегу, двух нагих, что слились, не смогли распасться, разойтись друг от друга, выйти наружу - в шлюпке везли, на буксире. Соединила волна – человек их да не разымет! Кто-то кинул, сострадая, простыню на два скрюченных белых тела – на Пеликана. Скрипела уключина от удара прибоя, а лодка карябалась дном о гальку.

*Посредством воды живут рыбы, посредством неба живут птицы. Посредством птиц существует небо. Посредством рыб существует вода. Посредством существования неба существуют птицы, посредством существования воды существуют рыбы. Следует идти дальше, выявляя просветленность как сущностную природу этого существования.*

Посредством существования пеликана существуем ты и я, королева конго, с которой учу французский и божий, черный, всемирный. Посредством существования существует французский язык и глаголы его падучие.

Разорвите мне грудь, пусть разойдется по частям света на твердых белых ногах, делая мир больше разрывом своим, пусть выйдет кровь для птенцов из разрыва – идите и пейте. На камне крови воздвигну я Царство свое.

Каждый после меня расходился по свету. Вот стоял он на перекрестке, мальчик в белой рубашке. И вот уж пошел он, разорвав себя на себя – к Востоку пошел с кровавой лопаткой. По мосту над рекой – на Запад пошел с кровавым затылком. По переулку - на Север с кровавой пятою. По ступенькам - на Юг, с распотрошенным позвоночником красным, с белой спины хворостиной.

Ветер сбил тебя в сливки, птица, в белое тесто под стеклянной рубашкой.



В середине же ты – невесома. Да разве ж не Пеликан каждый из нас в середине! Там, где играют волны, где ходят владыки и монстры, где уключина вынута из паза и лодка стоит в царстве **Ж**, буквы джун.

Там наш дом – в середине. Туда мы приходим, оттуда выходим, царапая рукою по небу, как вставленным в уключину веслом. В середке своей живешь ты – житель малый себя, небо в наперстке. Там мал ты настолько, что всякий другой малый уместится там в тебе без слов, но в любви и царапанье сверху. Не помнишь там губ африканских, полных, но их позабыл, не забыв, и нет в тебе мыслей, нет в тебе трещин. Какие же трещины в центре? Еще там не убили тебя, еще не раздели, не родили дауна-розу, заглотнувшую дым сигареты, клуб никотинный в себя.

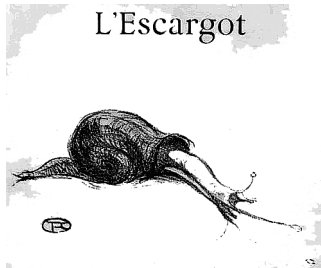
Летишь, опираясь на ребра свои, как на ребро дельтаплана, человечек в безбрежном небе, синем, зеленом, гнущемся пред поворотом. Велико твоё небо в ангелах-червоточках, в пустоте перекрестка!

С тобою я, Птица, у белых твоих локтей, у колен. Вложу перст головы своей, христос-пеликан в разверстую рану твою – как в рождественский красный колпак.

О, в сплошной и единый кулак сжатые руки и ноги и пронзенный бок божества на высоком кресте, как лепка из глины в обратный ком! Череп Адама, врытый в твой собственный череп.

Родись из гроба картавого клюва, Спаситель мира!

## УЛИТКА



Улитка лезет вверх и плывет по любой линии в воздухе, и кто ее снимет? Нет такой линии, где не осталось бы следа ее языка. И когда ты, подобно щеглу, бежишь с зеленого склона и горланишь свою серебряную песенку, то знаю, кто облизывает языком вместо тебя все слои воздуха.

Представь – ты можешь стоять сразу в восьми позах, как человек Леонардо, не двигаясь, не меняя жестов, а она, красный язык, оползет тебя протопопом, сожжет и произнесет во всю длину землетрясения. Глубина ее – глубина земли, твоей жаркой могилы, твоего дорогого плеча.

И ты сидишь на крыльчке, следя, как улитка, сияя в луне, трясет дом вместе с огненными старухами на крыльце, и слова падают с неба, как спелые вишни.

Я лягу, лягу во всю длину на лед – прозрачный в прозрачном, я вытянусь за края земли, не меняя плеч, я Шива, сторукий осьминог, царь-Улитка.

О, приди, любовь моя, приди, верхом на горсти воздуха, с горстью свободы в ключице.

Нет у улитки рук, как нет рук у людей, и нет у нее ничего, кроме губ во всю длину тела, о поцелуй всем телом, всей перстью, всей жизнью!

Такое возможно лишь серебряным утром, когда бежишь в школу, мотая портфельчиком, не зная еще, что за клубок в нем внутри. И вот забираешься в жизнь, как в чуждую женщину, совпадая во всех глазах ее или пальцах. И вот корчишься в родах, потому что улитка ты, фуганок земли, и то, что завивается сверху – твой дом и мой череп, что завился, завился, а над палубой странное танго, и я лежу меж Сатурном и Марсом – нежная улитка без скорлупы, пиявка с утопленной кровью, луч! луч Новой жизни, головоногий глагол.

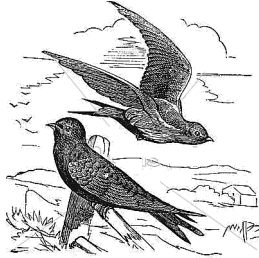
Могилы смещаются, когда ты проползаешь, и звезды отворяются, как выношенные утробы.

С темени лопнувшая земля - все глубже ползет вдоль позвонков, сочленений, туда, где все начинается, - безъязыкой гугнивой трещиной, полной тебя, и кто б мог подумать, что твоя глубина такова!

Липнет речь, один язык с тобою у нас на два неба, сиамский уродец близнец, медленный, тяжкий, как огонь.

В четыре стороны мира твой свет, как окоп! - ничего святого!

## СТРИЖ



Сильные, что вы меня разбиваете? Или не все вам равно, мышам, меня двигать или течение речки с бурунами, форелью, глазом конским и мертвым? Хрусталам пощечины, наотмашь лупите, пока я считаю сколько раз шевельнет над рекой тополиный лист пальцем, и я в хрустале вопля, как в стеклянном воротнике застрял, как Веласкес, как в проруби мертвой со ртом вопящим, ах, расколите вы мое сердце, расщепите. Чего визжите над холмом меня – потому, что август приблизился? Куда летят холмы ваши, свинцовые расширенные холмы спин, курганы для времен хрустальных, витязя мертвого, ЛСД удлиненного. Не из холмов ли состоит земля, не песком ли дымит, пока вы свиристите, будто швырнул кто визжащую мелочь на всем ходу из «сапсана» на платформу - летит, убивает висок, сверкает длинно и страшно.

Ах, листочек листок, где моя речка?

Есть ли ты, стриж? Вывертом, выморочком века живущая птица. Когда все слезы наружу, а глаз потеряли, только красная, кровавая, вывернутая полоска – проведи языком, слизни стальную соринку, сглотни и умри. Черные мальчики смерти, кто б без вас умыл мне лицо ключевой водой?

Летит он, распластался, язык прозрачный изо рта – ложный, длинный как жало – вереск и визг, а вот и крылья растут у девы. Сидит она у речки, косы полощет, а ноги в червях. Но в каждом воплем твоего голенища, горла, воздух толкает ее в лопатку и выходит оттуда наружу крыло – страшное как Африка, горькое, как осколок, острое, как крапива. Все и я думали, что нет ее на свете, а она сидит у дамбы, косы в мазуте с пионами полощет, крылом зеленеет, губами цветет. Ах, свежестью пахнет, кленом речным да водой!

Ах, могилка горластая для дюймовочки, пулька свистящая!

Не родился еще тот, кто вложит в пасть тебе руку, а кто вложит – уже не умрет.

А Митя идет к речке, чтобы грянуться лицом не в землю черепах, а в воду стрижей, разбить лицо о мазутные волны, где в 6 утра теплоход разворачивается так, что плечо у Мити кривиться, и зубы лязгают от любви и свежести юного городского ветра. А рубашка с плеча сползает, и пока развернется теплоход – наискось располосует рубаху от плеча и до пояса, такова сила кривой белизны на реке, поворота утреннего.

Господи, да когда ж перестанешь? Биться в груди перестанешь, вопить в ребре, крапивные крылья у плеч растить белых – ведь не со зла, не с беды, а сам не знаешь, зачем. Вот вишенки, вишенки черные дрожат по всей моей груди, как молоточки в раскрытом рояле, дрожат внутри Мити, переливаются, а девочка стонет, поет у реки.

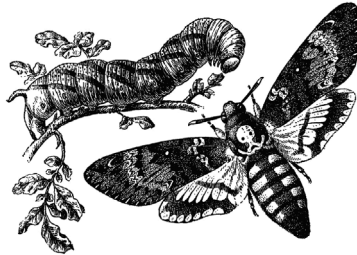
Упаду в крапивные крылья, вознесет она меня на звезду Марс в крови и репейнике, и когда нас не станет тогда начнется любовь с пружиной исчезновения. И чем шире пружина, тем меньше Мити и девы и больше любви.

Не в вас ли я пясть вложил, дикие птицы, не в вашу ли глотку – свою – глотку сердца, слглатывающего как слезу жизнь напрасную, мир выпрямляющую?

Словно глиной залеплен я визгом стрижиным, это чтобы заново взойти еще раз из самого себя – маком, полынью, иваном-да-марьей, человечком сморщенным, на все небо святым и широким, травами, травами, облаками.

Вот всё сказал Митя, всё обронила дева, всё река - летят белые, как простыня сплошные неотличные, ни начала нет, ни конца – до Пятикнижья летят, еще до света, еще до фараона – всегда летят, везде – прежде мира и речки, прежде себя самих, а стриж воду черпает, словно байдарка с мускулом черным, боковым, визжит черную жвачку лучей ест, трамвай насквозь пролетает. Август-август, визжащий царь!

## БРАЖНИК



Глава бражника есть глава человека. Неказист он и смердящ, как пуля, трепеща крыльями, как плотный воробей в лиловой ночи. Глава человечья смотрит своими глазами чрез глаза крылолета. Широки эти глаза, зрящи от ужаса и пространства. В пространстве синеет взгляд и кости девицы. Если навести глаз человеческий на дальний предел, то рассыпается бражник и остается один лишь след воздуха, полоса без тела. Если ж на ближний – колено или гребень в пучке волос – то коснеет летучий зверь до сугубой дебелой плоти – белого черепа. Из черепа человек состоит, а не бражник, а бражник состоит из человека главы. Ночью летит он, косматый, как шапка улана, сбивая шишки и белые шары плоти, изнемогая от любви и шаров - незримых вещей простора - мысли, расстоянья меж подушечкой пальца до луны и от формы ночного бедра побережья. Так летает погасший уголь, истлевший в костре. Летит, пробивая заштопанные занавески, дымы папиросные, блестящие взгляды.

Бражник есть костоправ, бороздильщик – правят кости мысль человека, и боль с любовью правят кости, выправляют выломанную страсть, заполняют собой пробоину жизни, поэтому человек к старости окостеневает. Спускается глава его, череп, как веко,

наезжает глава его, череп, на него остального, закутывает в себя костью и дымом событий, вытесняя мягкое, тело медузы и тело улитки из человека, остается один панцирь, один роговой завиток.

В юности плоть твоя упруга словно волна, бродят по плоти твоей руки плоти другой, бьет молния руки плоти на плоти другой, в молнии вы живете. В синем огне и крушенье - поцелуй, распущенные волосы, в синем огне и крушенье - запаха волос, родинки под глазами, белая грудь. Слепит синий огонь, и слеп и зрящ обоюдно, бьет тебя влет, воздух в кость забивает – вот и не весите вы ничего, а как молнии шар кочуете в ветре из оврага в дупло, ширясь глазами на ужас ночи и гул из впадин меж бедер и губ.

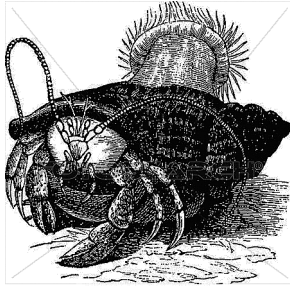
Око же ваше – уходит в бражника, как отломавшаяся серьга за бортом уходит к черноте глубин. Нарезная птица ночная, из красных губ ваших летит, глаза ваши белые уносит, ресницы черные затупляет. Вошь и огонь ползут по бражнику в зигзаге его.

Когда стоит она как стол о четырех полных ногах, сияя белою спиной на весь мир, а сзади хрип да старанье - в окно мальчишка таращится как Сатурн. Тяжек полет и тяжек любовный труд в галифе и с отстегнутой портупеей. Череп влит в полет, череп круглится в любовном труде, а крылья невесомую весть все бормочут, все говорят. Таранят воздух и поют лиловым путем, слюдяной полосой, а из бедра ее белого, из смятой плиссированной юбки – полет трескучий да лиловая звезда течет как репей, Афродита в ночи. Из бедра и плиссе – новый человек рождается с копьём и в извилинах мозга. А старого череп просовывается в крылатый бархат, в семикратную жужжащую ночь с мальчишкой-Сатурном. Колено обтянуто чулком, как обтянутая голова, как ветер обтягивает бражника, как подкову лужа.

Вот и лежит мальчик на пути, а вместо век его – по птице-бражнику, никуда не смотрит, и череп вынут, а внутренний мрак – сияет!



## КРАБ



*Габриэлле Хадинек*

Ударь себя в грудь, раздвоенным пальцем перламутром. Все равно, что локтем ты достaeшь до подбородка, все равно что ты лодка с двумя глазами. Плющится ныряльщик над тобой, витает улыбкой во все свое тело, и улыбается улыбка ныряльщиком, кривит его розовыми своими трещинками, обнажает зубами перламутром, окунает его в темную глубину, где шевелится язык и наступает лето с жаркой сиренью. Такую выбивают глаза из мозга наружу, чтобы она была не только в мире мира, но и в мире другого мира, куда можно войти глазами и ногами и уйти далеко.

Как в ознобе твоя пробежка! Как встает балерина она на пуантах! Как облачка песка, как вбок от глаз идешь, как деревяшка флейты поденщицы, дыхательницы, утопленницы! Бела твоя изнанка, чисты твои стеклянные пули, которые тело впитывает с плеском, как пролила молоко на клавиши, потекло на пол. Сам себе рука, вынимающая себя из тебя! Роза, роза...

Сам ты себе сам, чернозем, остаток, бедренная кость в сухой степи. Кто еще ляжет костью меж собственными глазами, кроме неба? И я ползу, в тебе ползу, боковой мой ход, перепелкин вспорх. Я бы забился лбом в землю окопа, где ты есть мысль моя ставшая землей о тебе, смерть моя живая, нет тебя иначе как в теле моем - крабе, растопыренной руке, в коряге моего позвоночника в обмороке раскрытых нелепых, словно хрящ, глаз.

А она встает как краб на носки, и в прическе ее краб и гребень, а скрупулезное зеркало выбирает между корневищем и хрусталем, между мхом и лучом, и ты есть ты есть ты и есть зеркало в зеркале, это как треск закрылков жука у тебя в кармане.

Смерть моя живая с фотографии, крабы пышны и грудасты, а грудь их бела, слоиста, как сдвиг породы. Кто еще падет на землю, как не краб – раскинув руки, припав и уходя-уходя в бок земли, все глубже к алмазу зрения, к завершению корня, к самому себе, который идет со всех сторон к тебе - и корневищем и вием и пластмассовой розовой лодочкой и красным локтем и перламутровой пуговицей, болтающейся на нитке. Где еще я видел тебя – конечно у нее подмышкой, и обнимающим мое горло.

Бочка меду, ковш мрака, растопыр, урод!

Оловянный ангел пляшет на твоём уродливом пальце, прости меня, радость моя, брат мой искренний, дилижанс с письмом, окрепший формой слог.

Под причалом, где волны, твоя белая раковина как тюлень, беда бейсболка.

Нет таких на земле. Все они не отсюда, метеориты, ни ты белая грудь в прибое гуле, ни ты Дягилев с танцовщицей на пуантах, с руками клешнями, чтоб вращать бочку мира, внутри рук, ни прыжок ваш землистый, все легкое - тяжело, зависнув на собой земляной пружинной изо рта выталкивающей прочь от веса, ни ты – зверь-чертополох, неуживчивый, неубиенный. Для чего я осмелился вторгнуться, для чего я коснулся того, что некасаемо, что ускользает как метеорит, оплавленный черный базальт, птица-краб, с расширенным взором, покроют тебя муравьи.

Иди, обойди себя и меня обойди кругом, как крепость, как бочку с дегтем, как обруч.  
Как легко быть сверхчеловеком, быть клешней ли звездой, белой ли грудью в прибое,  
конским хвостом!

А я обойду тебя, положу лоб свой на череп твой, поменяюсь верхом и низом, мы  
давно с тобой одно, с тех пор, как я родил тебя из бедра сердца моего.

Слышишь, как поет трава подземная и морская. Как свистит!

Между костью коровьего черепа и медузой – лежит белогрудая у свай - и кость и  
медуза.

Нет ничего, кроме кобры интуиции – между вилами и сном.

Растрескается от нее мир и пустит к себе.

А пока царапайся, я с тобой, хватай, шевели юркими пришептываниями челюсти,  
черная звезда, рука на лбу моем, место вынутой из черной воды длани ты заполняешь  
в бочке собой.

Белое тело твое струится по мне как дождь, как молоко, как стая червей под корой.

Господи, вложу свою руку в тебя, в белую грудь, в черное море.

А одуванчик смеется.

## СЕЛЕЗЕНЬ



Если ты перевернут и изумруд твой изнизан перьями, говори. Чему подобны слова и крики над заводью? Тому, как она раздвигается до мальчишеской руки, до женского плеча? Или перьям, высыпавшимся из тебя под ударом дробы и взгляда, но ты остаешься цел в превращениях.

Потому что семиствольная флейта содержит тебя и колышет в розовой ванне, в царской водке, откуда все истекает, откуда - рот и клюв. Потому сравню лапу твою с колесом телеги, скрипучей, недвижимой в оси. И сравню голову твою с китом-людоедом, поющим фистулой сквозь океан о том, что он сам человек.

Я нагромоздил столько слов – это светящиеся точки, на которых натянуты линии твоей жизни, селезень. Если не я, кто обновит тебя!

Я ведь готов отдать свою печень твоей синеве, и - отдаю, с тех пор, как родился. Зато ты кричишь изо льда и черной воды и медленно, как во сне, двигая ртом, говоришь хрипло и внятно: приди ко мне.

А я и не уходил – мы вместе вышли из превращений и вместе уйдем снова, не задев круга волн по пруду в опрокинутых фонарях.

И вновь оживем – линии натянуты, буква зажжена, слово расширяется в красную перепонку гребущей лапы. Бог уловил сам себя...

**ГЕРОИНИ**



## АНТИГОНА

*Ольге Соколовой*

Зачем стоят твои деревья на крови лба, олень?

Зачем на дереве, над вшами Эдипа расточает свою кровь соловей, как ты расточал ее в смещении плоти?

Зачем от движения моего позвоночника меняется строй мира и запах розы, словно он удочка и язык бьется на нем в солнце, разбрызгивая перламутр и жизнь в глаза ребенку?

Зачем когда я падаю в землю, она отступает и я падаю в бездонную яму по форме тела?

Разве она - не я?

И вот не осталось вещей – одни позвонки и ребра, а плоть и дыхание отдельно.

Роза ушла от розы, а сирень от сирени.

Груша вынута из себя, оставив след лба в воздухе как след босой ступни.

И человек свит ребром в летательный аппарат, а сам ушел далеко – дыханием и теплом перламутровой плоти.

Вьется в ребрах сердце из ребер.

Бомж в моче смотрит себе вдогонку, идущему за Луну, туда, где ночная груша согласна со стекающим млечным светом.

Сожмите мои ребра и череп в кулак, вязи священной рощи, чтобы остальное странствовало не зная сопротивления.

Как странствуют кабан, заяблик, удод, человек без кожи, плывущая в канале перегоревшая лампочка, краб. Разве не сами с себя мы стекаем, разве не похожи мы на всплывшего кашалота или подлодку?

Разожми ладонь, Антигона, разожми ладонь, пусть на ней родится твоя стопа.

А губы сфинги скажут губы сфинги, и пыль скажет пыль. И губы скажут губы.

И никто никогда не видит, куда мы уходим.



## ГЕКАТА - 1

Зачем ты приехал к цыганам, зачем мы приезжаем умирать, не потому ли, что скучаем о свете?

Матовое зеркало изнутри вод и призраков вложенных в ресницы глаз. Вода изнутри вод - чем не луна изнутри твоей грудной клетки, Геката?

Человек есть блеск есть блеск яичной скорлупы, все обвалено в ней.

От гривы скакуна, от шеи его, похожей на обнаженную цыганку с белым пупом, до тебя – что протянуто? – белая крошка, похожая на состриженные ногти, мы обвалены в ней – фонарь и шляпка, и глаза богини – как в сахаре.

Зачем мы приезжаем умирать на пристань, к фонарю цвета вина с медью?

Я ходил в этом городе, я искал смерть обваленную в крошке, омытую, маленькую.

Цыгане играли на аккордеоне и кланчили денег хором, на гондоле везли гроб, раздувающийся в рояль, в черные волны, отдельные от официальной церемонии.

Одно лицо бабы было вниз и видело дно с отраженьями. Второе белыми в крошке глазами видело небо. Это были жизнь и изнанка.

Третье глядело в тебя.

Найди в себе, чем смотреть в ответ. Это есть у тебя. Что сыграет ржавый звонок с надписью в потеках RUDGE?

Омытое лицо, разбросанные ноги, юбка сошедшая, как краб, сбежавший с камня.

Маленькая, обутая в красное.

На улицах я бормотал и бегал, среди черных магов – уважаемых граждан, детей и жен, порожденья двух лиц настоящей жизни. Как лицо вкладывают в его посмертную маску, чтоб ощутило себя и нашло, так вложил я тело в тебя, дева чугунных ласточек и асбестовых собак.

Все дело в том, что ты больше смерти, ты родился таким, голый мальчик, еще не обросший бородой и именами женщин и богов, весь, как несостриженный ноготь.

Ничего не надо обретать – ни красной бумаги, ни ржавого колокольчика.

Пять букв на мраморе в солнечном плюще. Собачье дерьмо. Чайка хрюкает над листвой в солнце.

Гондолы вытесняют воду лицами. Люди – воздух. Он ходит, как в мехах баяна.

И поют цыгане, как держат за хвост и за нос огромную хрустальную рыбу.

## ГЕКАТА - 2

Не зарекайся жить вдали от богини с клыками.

Она обменялась с вепрем ногами и ртом и рвет воздух и желуди, проливая кровь оскопленных мужей и младенцев.

Поворачивается над молочной крышей падающая снежинка, как мельничное колесо, смотрит на него Луна.

Я шел с горы и боли тюк нес за плечами.

Слишком много зла и смерти не тает на спине, как сугроб, слишком сжата пружина рожденья, слишком тихо летит дирижабль. Леонардо с ангельским когтем перебирает гармошкой воздух жуков и жарких ласточек. Для чего мы жили, для чего столько змеящихся судорог, столько восторга прошло мимо сжатого кулака, с желудем в нем? Столько белых ног, красных ртов, отрубленных рук?

В три стороны смотришь, трехтелая героиня, три пса разрывают тебя, три чайки роняют куски в твой рот.

Смерть надо разморозить. Оживить дыханьем – рот в рот. Стон и счастье одно.

Я видел, как стоишь ты, ледяная, на причале и застряла в тебе травинка, а флаг тихо хлопает над мостками, словно подол.

Вещи теряют невинность – ты одна сохранила. Одиссея и ванты моста над Верещинским ручьем, и мальчика с огромной головой без рук и туловища – сплошная луна и снег, ты – одна.

Гремят твои змеи ртутью, на острове ниши в табличках, с прахом, медные кипарисы над мутной водой, набравшие мутного воздуха, как понтоны. Дохлая кошка, комок волосатой глины.

Эти слова из тебя вышли, трехтелая, когда я размораживал твой твердоглавый лед.

Remember me, Дидона в ветре, под мрамором и плющом в солнце лежащего, в солнечной земляной ванне, помни прекрасные трагические лица. Все, что я создал между трех спин, а потом забыл меж трех пирамид. Ибо пока не забудешь, нет того, что ты сделал.

Э. Л. П. здесь лежит, предатель конечных вещей, запекшийся устрицей звук.

Из тела в тело идешь в судорогах и слюне, теряя форму, наращивая клочкотанье – из белых материнских ног - в черные материнские ноги. Простыни тянутся как слюна, вытягивая млечную грудь в лунном свете, бутылъ вина на полу, богиня призраков, множь моих дев до себя, до одной – до флага с балкона над пустой площадью утром, и пахнет водорослями, до простецкого пота из подмышек, до свитой улитки, заползающей в рот, растворяющей тело... Есть простое, белое - ни ребро, ни Луна – остров бабочек. Простое, нераздельное. Сорок сосцов и одни глаза – полные моря и крабов.

Между трех твоих спин не лагуна, но натянуты нити из серебра и света – вот где место для мальчика с сияньем вместо груди и пальцев. Лодка отходит.

Тебя так много, чтобы меня одурачить. Чтобы я понял, что во мне нет меня. Есть только пустая лодка с флагом на корме и флот вычурных волн. Пустая лодка и флот волн.

## ДРИАДА

Я знал, волчий бог, что ты заключена в березе. Ладонями я ощупывал кору. Потом все мое тело стало ладонями – лоб, живот, кожа спины, кожа ступней, эпителий затылка. Всем моим телом теперь я осязал тебя. И потому я состоял из коры всей своей кожей, ощупывающей ее, я был внутри коры. Я был там, где ты.

И я видел тебя удлинёнными огнем очами, но они расширились, разошлись на всю кожу, удлинлись до висков, до горла, до плеч, живота, гениталий, голеностопа. До спины и земли. Залили меня светоносным зрением, как дождь - обнаженное тело. И поэтому тебя я видел со всех сторон себя. Я был внутри тебя.

И слух мой разросся, как грибная поляна по лужайке моего тела. И я слышал тебя теменем и ступней, ртом и бедрами, всей поверхностью своего божества, своего сияния, своей кожи, пронизанной капиллярами с гранатовым соком бессмертия в них. Окружая тебя, внутри тебя я был.

И я понял, что до этого не был я богом.

И вот я прикасаюсь к предметам с тех пор и, вместо содранной кожи, теперь у меня по телу растеклись все органы чувств и чувства – зрение, слух и осязание, вместе и попеременно.

Волки трутся о мои ноги, обдирая о них шерсть, как о нос лады, дымится их пакля. А я смотрю на предметы и вещи, замороженный новым объемом.

Я иду медленно. Все они преобразены мной – словно влажные, сияют у меня за спиной - те, к кому прикоснулся. Камни, девы, белые голуби, лимонные черепахи. Женщины, лежащие в постелях, и мужчины, стоящие в могилах. Дома с плотниками и кипарисы с гнездами. Нимфы и богини. Все они изменились.

Стоят у меня за спиной, пока я прохожу.

А я и не знаю, что там я оставил сзади – рай или ад.

К тому же теперь нет сзади и спереди, есть везде.

## КАССАНДРА, ДОЧЬ ПРИАМА

Пока я шел к тебе, моросил дождь, рубашка стала грязной от крови и гноя, голова намочка, а изо рта толкалась та рыба, которую мы всегда называем по-другому, словно это не она раскрывает губы в губах и таращит бельма желатиновых глаз, будто бы плывет под водой.

А ты сидела на пустой лавочке между одной аркой и другой, рядом с кустом лавровишни. Ты была не тяжелей жука или скрепки.

Пока я шел к тебе, ты не менялась, но заворачивалась сама в себя, потому что заязы губ всасывали воздух и запах. Троя пала, к бараку напротив бассейна приезжала пожарная машина, а подвалы ушли еще глубже.

Твои слова одевали меня и разрушали меня, но не ты была им, никелированным и прицельным, хозяйка.

Быки тащили землю как плуг, Агамемнон пеленал тебя, изнасилованную Аяксом, но никто не знал, что ты придешь ко мне.

А я шел и менялся – то был жуком, то веткой, растопыренной как рука, то ежом, а то твоей смертью.

В себе-смерти я задерживался дольше обычного, потому что она была длинная-длинная, как ведро без дна, цинковая внутри, гулкая и вилась, как труба, и тогда я не мог найти своих рук, языка и ног.

Смерти бывают разные – я видел одну, ничем не отличную от меня, она была жесточка, а вторая была как лужа с облаком.

Сейчас я дойду, разорвавшись от твоего перламутра, от твоего всесильного слова, заглывающего паруса, мачты, кладбища и кротов. Вот я подхожу ближе и вижу твою белую спину, словно это мраморная колонна, словно кто-то повалил ее в кусты ежевики, в синие глаза, и она блестит под дождем.

Прощайте города, сети и ночные табуны!

Я был твоим криком, уподобляясь каждому слову – был рыбой, ведром, тихим полем, клыком вепря, мышцей Аякса. А может, этот вопль сотворил и тебя, и меня, и мы истаем на его концах, как фантомы?

Ты пришла ко мне, ты забыла, что Аякс - это я, и я выволоку тебя из храма, обещенную, бормочущую. Пророки ничего не помнят.

## КАССАНДРА - 2

И, когда бык сгнил, на его месте оказалась раковина.

Это как будто все твои конечности ампутировали, а тело собрали из общей влажной плоти и разрезали входом в перламутре, а тупые шипы торчат культями.

Так ты и стоишь на гальке, опираясь на короткие ноги и короткие руки без пальцев.

И завиваешься как дым, падающий самолет или ствол дерева.

Все уже было – белизна колена, бег волны, пламя очага – у тебя осталось лишь одно слово.

Оно повторяет формой все твои культы, все траектории, оно кратко и сжато так, что входит само в себя до крови.

Оно похоже на дерево с вросшим в него концом ветви, на скелет, в грудной клетке которого лежит летчик и ждет, когда вырастут крылья.

Оно вжато в себя, как камень в себя, как стадион в летящий диск, как роза в ногу.

Все что умерло, гудит внутри твоего рта.

Белый бык на бумажных ногах придет к тебе, стоящей на обрубках.

Я люблю тебя.



## КИПРИДА

Красный дом с красным окном, тебя я пою. Разве не из разжатого кулака розы поднимается кулак, разжимающий небо, чтобы небо разжало твою голубую грудь, о Киприда с розовой отметиной, с сияющими иголками света в глазах.

На Иду я поднимался, неся сгорающий дом счастья на плечах – зеленые листья шумели под ногами. Увидеть тебя и понять. Наклонись над убегающими белыми позвонками – пусть обернется, и тогда гляди – белые каменные змеи ползут в разные стороны и губы плюются и плюются старческим жемчугом.

Камень трещит, шелковая бухта качает корабль из камня и пепла, а в груди у девы бессмертный смех и воробышек у виска.

Скорчившийся мальчик – это и есть афродита, или когда с тяжким оружием идешь в каменного коня и никак не можешь протиснуться, потому что там уж очень много народа и половина мертвы.

Твои глаза видны, если раскрутить спицы велосипеда – в блеске, смущенье и шорохе, в невидимой дороге, по которой стремится алюминиевая машина, колесами вверх.

Я, как паук, качаюсь на паутине – мои мышцы стальные нитки, старческие волосы. Ты ехал в южном автобусе, мешок сухого льда жег твою спину, мертвое тело лежало в комнате в ожидании холода, и текли реки молоком и известкой.

Сперма и кровь. Разве не поднимаюсь я, отдельно от себя, в небо – папиросная машина, целенометаллический дирижабль, обратный болид?

Разве не возвращаюсь, как рембранд, входя в отца по лопату и пояс.

Ты смотришь на реку Мацеста раскрашенными глазами - вместо отбитых рук у тебя черепахи, вместо каменного языка – красный живой, тлеет, как Кэмел ночью, на спуске, кости мои из сухого льда, твои - из гвоздики.

Посмотри, как он сидит между двух раскатов грома – обыкновенный старик.

До этого был он мочкой уха, после - лопатой.

Дистанция женского тела, дистанция коня.

Если быстро вращаться, из тебя выйдет твоя середина, как белое веретено, как богиня с Кипра, как нагое тело в сухом льду на балконе.

И ты освободишься от них.

## ОФЕЛИЯ

Наклони срубленное дерево - увидишь фигуру. Наклони срубленную реку - увидишь зеленое платье. Зеленое платье, шевелящаяся крона в ветре реки, в источниках, плавниках. Вот дева лежит, приоткрыв глаза, вот молния тает в ней - от зигзага и вольтовой мощи до тихих капилляров покоя, румянца на ланях-ланитах, до самого плавного тела - вот крона. В серебре чешуи, в чешуйках век плывет, но не движется - как форель стоит под мостом, а в губах гул и гам. А в губах гул и гам – города, мантикоры, леопарды, базилик да рута, да мята. Дыханье уходит из губ, поцелуй входит в губы, создавая их на ходу там, где их не было, оставляя как след.

Кто убил тебя дева-крона?

В реке-речи стоишь, песни колючие поешь – в любом горле ты ерш, в любом - раздираешь трахею и глотку. Что мы забыли у подола и горла своего, чью смерть сторожим, чью песню подслушиваем, за каким нагим телом подглядываем, какой лай колеблет нас как водоросли?

Белое лицо, как мамина ночь, как локоть брата. Роза и рвота на губах твоих – были едино, теперь разошлись, а вот и снова сошлись, дева-рыба.

Столько ртов-чешуек – любая скважина – рот. Сколько же ртов в твоём рту? Сколько губ в губах – как поцелуев, как слов, как ударов сердца, перламутровая, холодная!

Никто уже не дотянется до тебя – ушла вместе с сумасшедшей песенкой в юность мою, в деревянные санки на белом снегу с кровью и следом собаки. Разве что звезда, разве что черепаха... ни Дант-флорентинец, ни горб с травой, ни адамов язык. Скатанный снежок с речью внутри, пущенный плыть по реке, разве не он висит меж двух подков – мужской и женской, когда он хочет войти туда, откуда вышел, а она принять то, что отдала. Невесомый снежок – колтун в волосах, жабий шар за языком, рыбий пузырь!

Зачем мы вдыхаем? – Чтобы родиться. Зачем выдыхаем? – Чтоб быть.

Чтобы быть и стоять в пузырях, стоять в пузырях, стоять в пузырях, вздымающихся со дна.

Серебряных, как язык удлинённых.

Стоять, не колеблясь.

## ЦЫГАНКА

Между подброшенных яблок пробирается взвешенной ниткой контур леопарда. Они притягивают его как все круглое и тяжелое, как ты притянула меня.

Твоему мальчику всегда шесть лет, он стоит со снежком руке, он смеется, у него выбиты зубы. Ты притянула меня, потому что я люблю поющих цыганок, их струны и ступни со следом раздавленных змей и медуз. Ты лежала, а я ходил вокруг тебя, не понимая, что вижу тебя глазами, как яблоками леопарда, ты тихо дышала и не могла оторваться от моих выцветших мускулов под синим солнцем.

Потом мы разбивали бочки и на гнутых досках съезжали по сосновым иглам, устилающим спуск, к морю, разрывая рты и рубашку о тернии ажины. Ты не ездила с нами.

Мы жили с тобой в белом доме, который горел. Он горел, как бумага, и мы тоже были покрыты огнем, как потом. В доме, который горел, я стал тяжелым, и на ноге у меня прорезался еще один палец с когтем. Ангелы прикасались ко мне, когда я ел картошку и глядел на огонь печки. Я знал, что никогда не умру, но ты дразнила меня, насылая кошмары, целуя в колено алым ртом с запахом смолы. Я написал балладу и буквы появляясь, превращались в глаза и сторали. Я всегда умел писать бессмертные буквы.

Не уходи цыганка, не ложись под казаков ни тогда, ни потом, лучше роди меня снова.

Казак это смоляные доски, наклоненные, липкие, им лебедь – не крик, а земля – не еда. Борщ да клинок, белое тело, что горит под огромной берцовой, под ледяной синевой неба над Доном.

Гробовая доска удлиняет тело – это Адонис ушел опять внутрь дерева, чтобы ты его там любила. Что за ужас я испытал в детстве, когда перебежал дорогу перед духовым оркестром траурной процессии! Как пахло на улице раскаленным асфальтом,

белели колонны столовой, царапался лавр! Какие птицы и серафимы мне пели в ту ночь, оглушая и зашивая трещины на разорванной криком груди!

Сияет мое сердце, сияет, а снежок тает в руке, не уходи от меня цыганское имя, которое превращается в губы, глаза и кости, когда его произносишь. Превращается в меня, говорящего имя, обрастающего собой, как смолой. И вот я бегу, заливаясь светом как песней к белым коленям, к перепелиному пуху, к деревянному дому.

## ОФЕЛИЯ - 2

Она ходила и собирала осколки этого тела. У тела есть другое тело, и потому она собирала осколки того тела, из которого сотворено первое. Самокат сотворен из осколков воспоминаний о змее на асфальте, шарикоподшипнике и солнце. Осколки этого тела врастали в чужие лица, в топчаны на пляже, в ритм прибоя, а голова приросла к ее руке, приплыв однажды, как лодка в туманной лагуне к пристани, и намертво к ней приклеившись.

Ночами голова светилась как лайнер в океане – сразу всеми иллюминаторами, а вокруг прыгали дельфины – красные звери воздуха и веса. Для того чтобы умереть или воскресить человека, собрав его воедино, нужно выгнуться луком, от горла до сустава мизинца на ноге и тихо дунуть на свою душу, словно она зеркало, когда она вибрирует и трещит от напряжения.

И, когда уже ничего не возможно от крови в глазах, начинает происходить слово, воскрешающее Гамлета, пока ты плыла в студенистом белке глаза, принимая его за ручей. Его никому не увидеть, кроме тебя, никому – даже воскресшему. В нем и сегодня дрожит лук твоих мышц, стеклянные сухожилия взгляда, тихий выдох. Оно похоже на человека и прозрачный шар, и, когда натыкаешься на него, далеко-далеко кричит птица, которую ты не слышишь.

## САФО

Как пустой рукав, да, как рукав закатываешь, собираешь ткань внутрь, прижимаешь ее к пустоте без руки, сжимаешь пустоту бубликом, похожим на губы. Ткань твоя, как мягкое стекло, поблескивает, прозрачна. Заверни еще на оборот и кинь туда рощу, да, рощу. Плечо подруги кинь, такое же холодное, но нагревающееся от солнца за какую-нибудь минуту с прилипшими песчинками пляжа. Кинь дудочку и стихотворение и закатай на еще один оборот.

В этой полынье прорва рыбы – серебряной кефали, синих окуней, скользких русалок – их почти и не видно, они на краю океана, а ты закатываешь себя в океан. Ты гнездо – медуза, закатываешь себя в гнездо океана, омывающее пустоту.

Не во всяких губах живет зеленогубая, но в долгих ногах, но в воробьях и касатках. Там где пустота – тихая река и молния. Молния бьет в стог мусорным огнем, и ты прорастаешь стогом до земли и телом до меня – в молнии я нашел тебя. Зеленые шары яблоч, сверкающие каплями, приклеенными к низу, рваными, дрожащими.

А навстречу нам идет голый человек, одетый в мох, морские водоросли с проросшей из лба вместо звезды рыбой. И там шевелит губами, а глаза ее погасли, как у абхазца на прилавке. Мы оба смертные, я выдержу твоё пение, которое тебе подсказала рыба, от которого растут гланды и розы. Наискосок я разрезал горло крышкой от консервной банки, чтобы не говорить, но сказать. Плещут мои слова, пульсируют, - в каждом из них дерево и человек.

И я пячусь назад - к началу, к пустому рукаву, к динамовским улицам с редкими фонарями, дачными резными домиками, огромными снежинками, похожими на сахар.



Там должен быть вход в меня, потому что выход я нашел и теперь пачусь. Так велосипедисты гнутся на финише словно сдирая с себя рубашку вместе с загорелой кожей – да и зачем нам кожа, стеклянным?

Разве я не лежу в пеленках, маленький, невзрачный, гадкий – растопыривая руки и ноги, и мелко ими подергивая, с лицом, морщинистым, как у бульдога, я снова пришел, чтобы спеть.

Зачем мы мельчим? Зачем мелко плачем и быстро живем? Зачем тараним лбом стекло, когда это встреча с богиней? С синим ветром, овцой с колокольчиком, зеленогубой Миррой, прибором в гуле аорты, с кровью, вязкой, как глина? Разве не жив в нас свет? Разве не есть мы – коробейники света, гонцы семимильного луча? Разве не отводим мы себя, как локоть лучник, в свершения, города и тишину.

И плачет надо мной человек с рыбой во лбу.

## РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГИМНЫ



## ВОЛХВЫ

Вот он сгусток света, как сгусток крови. Как снежок, сжатый в кулаке до странной фигуры. Кирпич плота, строитель прозрачного аквариума. Верблюд. Несешь сам себя в аквариуме с рыбками, с чудовищами, ершами – коричневыми, желящими. Изнутри несет на себе небо прохожий на мосту, колыхет незаметно синий балдахин.

Чертополох, зверь с плевком на губе.

Вот это человек в шкуре, вот это блоха в шкуре, вот это шкура в белой пустыне.

Я распластаюсь по тебе шкурой с блохой – верблюд-Иоанн, я твой синий аквариум, чертополох со звездой – ершом, пробитым гарпуном. Шкурой ощущаю твой трицепс, твоё небо.

Несешь, покачиваешь аквариумом горизонт. Откуда эти раковины, завернутые до людей роговой спиралью? Вышедшие в лоб и лопатки, в руки с поводом, в жидкую синь глаз? Их лица замотаны, как раковины-рапаны. Их мозг замотан витком, как тюрбан.

Ладан и смирна.

Голубые горы вместо глаз, синие горбы.

Полотенца из камня.

Если ты хочешь, чтобы ты стал, обернись шерстью, вложи мундштук в губы, оставь пену на голой шее. Ноги твои выходят из горла в шерсти. Бежит горло на длинных верблюжьих – звезда смотрит колодцем, собрана звезда из бревен, из глины и света. Чем длиннее выгорает, тем глубже дорога.

Вот человек лежит в шкуре – убит, непригладен, жив еще лбом. Шел он собой верблюдом – от гавани рта до пропасти губ. Прошел себя, кончился, истек. Лбом в камень неба уперся, как ерш в толщу воды.

Выплюнуть себя всей шкурой, всем копытом, я отдам свои ребра дереву, хате, синице.

Идут верблюды – как глаза с коромыслами горбов, с ведрами сини.

Смирна и ладан.

Сдвинет верблюд базальт породы, выступит тектоника в морщине лба, в репье шкуры, в ящерице с мертвым глазом у копыта.

Плоть и камень – что легче сдвинуть? Не камень ли белая плоть, не плоть ли черный камень дороги? Не каменоломня ли – зачатые, сосцы серны, перламутровые ложесна?

Дороги из плоти, сосцы из звездной пыли, чертополох сам из себя. Перетекает верблюдов волхвами. К звезде-мальчику, к морской звезде плоти.

Я вложу лоб в шестнадцатый барак с Машей-учительницей, с цинковым, в искре, корытом, с Витькой-уркаганом, с зеленой звездой над толем крыши. Я так и пойду, озираясь, с прилипшим бараклом на лбу, как белый большой человек с судном весельным, взломанным лбом. Где в столетней утробе гречанки зреет морская звезда, младенец, дочка и сын, Славик.

Волхвы-черепахи, ветры плоти, объемы, что в руки не взять, лбы воздуха.

Я стану аквариумом без стен. Любка будет драться из-за пачки «Прибоя», из-за трофейной зажигалки, кровь юркнет тяжелой ящерицей в кошачий лаз, в раскиданное сено.

Все тогда вместится в меня. И я рождаюсь с Тобой, в Тебе. Разве где-то еще можно родиться в смерть и жизнь – в рыб и птиц, в волхва и плевок на дороге? Просто в щель. Когда вытекают глаза, мы прозреваем.

## ГИМН МЕЛЬХИСЕДЕКУ

*Марианне Ионовой*

Маленький выкатился стеклянный мальчик на белый лужок. А рядом прорванная труба брызжет синей водой до неба и падает снова в грязь. В кипарисах птица поет, на русском языке говорит, на шее у нее платок. У котельной шлак спекся, а на шлаке стоит земной гость стоит на одной прозрачной ноге, не шевельнется, до сих пор там стоит, не пропал в утраченном воздухе вместе с городом, которого больше нет.

Конь бежит вдоль дорожки, раскидывая ноги и повисая в воздухе, а черное его пятно бежит рядом, а всадник еще не родился, но ходит в райских лесах, и подковы коня потеряны, а глаза его просто буквы, не сошедшиеся в ресницы и выпуклости. Только полет и потому конь больше похож на ветку под снегом, что колыхнется в ветре, не сходя с места, осыпаясь.

Из трубы под дождем смотрит прозрачный дракон с яблоком в лапе – уходит в небо.

Собака разрывает яму - там старые женские туфли и пистолет с желтыми патронами.

Царь Христос приходит как елка под дождем, как собачье сердце, как плач старухи, жующей свой хлеб.

Из окон барака идут стеклянные пещеры и уходят на восток, а внутри их идут люди в сиянии и кукольник в пижаме, которого они не видят.

Бог Марс вдвигает на поляну короб с роженицей, женой Нира, Ноева брата – мертвая подруга Нира, мертвая, а рядом мальчишка растет на глазах, выпал из гроба, растет до взрослого с бородой, до взрослого с ножом, белым хлебом и красным вином – до царя Мельхиседека. До горы с белой вершиной, до неба с железной звездой.

Дождь идет, дым из трубы завивается, прибой шумит.

А я рожаю себя из глаза, толкаясь головой в его сферу, гибкую, хрустальную тюрьму, вонючую камеру КПЗ с кастетом в лоб и гиблой харкотиной, рожаю себя, выворачиваясь, как выворачивается в ветре парашют из ранца – белый раскрывающийся плевок в ворсинках, струнах и стеклянных иглах. Вынимаю себя из глаза, как небо из колодца – из черноты черного кулака выпростанный купол.

Ах, филин, чисты твои объятья, говорлива твоя сифида, прозрачны когти, загнанные мальчику под лопатки.

Мы сидим с котом, смотрим на дрова в печке, как накапливает слеза, как колыхнется в глубине пламя, как сетка огня щекочет лоб и щеки, и не понять, кто из нас кот, а кто человек.

И кто ты и кто я не понять, когда мы, голые как снежная ночь, перетекаем друг в друга и меняемся глазами и руками, я отдаю тебе кровь и кота, и печь, а ты мне меня, отдающего тебе кровь и кота, и печь. Потому что это уже я отдаю ему и ей и кровь, и кота, и печь.

Это как вспышку огня растворить в другой вспышке огня, это как заставить вещь быть собой или услышать шепот изо рта снежинки и расшевелить горячий язык в черепе.

Это как становиться тем, на что смотришь – сосной, окном, крысой, ныряющей в цементную дыру сортира, словно черный кусок стекла.

Искать между ног невыразимое или внутри языка невыразимое, или между ладоней – фигуру, родившуюся вместе с тобой и которую до смерти не можешь постигнуть – выпуклую, сладковатую, ускользающую меж ладоней, словно она вазелин медузы и мрак дупла. Вот где ошибка, ведущая в смерть.

Не умирай, говорит кузнечик – смотри, в какой ослепительный жгут завита в меня вселенная, словно в бутсу футболиста, полную светом, ударом и гулом. Ты не можешь – ты, родивший меня, ты сиянье, ты – говоренье обметанного языка. Вложи себя в осиное гнездо, я разорву тебе горло серпом и глазами, без тебя ничего бы не было, не летели бы перепелки в орешник, и стекло не треснуло б над оврагом.

Разве не счастье, эти окна, эта жизнь и смерть и ржавый гвоздь на дороге, не счастье ль - убийство, разлука, невинная кровь. Все смерти – счастье, все больницы прозрение, все обогнанные – блаженный смех. Взорванные танкеры, изгаженные океаны, умершие роженицы, торжествующие мародеры!

Ибо разрываемы, разрываемы, мной разрываемы, со мной – разрываемы.

Лишь тело сможет означить разрыв - твое, юное, уставшее, выгорающее, свистящее изнутри, из кости, как треснувшее полотно, как чулок, как огонь в ржавых дровах.

Я - пламя миру, свод капелле, снег детским санкам, плоть камню, сон убитому,

В пустоте баржи лежит мое вещее слово, как снятая кожа Варфоломея, как мертвая рыба.

Я смешался с землей, я съел ее, я влил в свет могильного червя, кровь в судорогу, вино в губы.

Смотри, как неподвижна вода, и я вышел из кожи, чтобы сделать этот тихий глоток.

И вот я иду, земляной человек по белой крыше, и толь трещит под ногами, что достали до дна земли, а на ресницах моих повис стеклянный снегирь.



## ДИКИЙ ЧЕЛОВЕК

Идет по склону со стрекозой и волком. Ах, как красны глаза стрекозы, зелены – вола! Как щелкает дрозд, как желта луна! Сарайчики по склону между цветущих груш. Вы видели собаку, ее глаза, ее ошейник с вцепившимся раком?

Он идет по склону, спускается, как камень по водопаду – в хрустале брызг, лоно его светло. Он идет – человек без кожи, сплошное мясо, бычья глыба, обычно висящая в мясной лавке. Кто занес тебя сюда, чудище? Вот уже дети визжат и разбегаются, а груши колеблются, не выдерживая твоей поступи. Он идет и смеется, и плачет – легче легкого, тоньше хрустального звона, легче девочки на холке битюга, скачущего по желтым опилкам.

Он мычит и бормочет, липнут к его красной плоти стрекозы, словно алмазы раджи, липнут лепестки, ореховые сережки. Каждый шаг – мука и крик, и запрет. Каждый звук – хрип и тоненькая песня. Каждый вдох – красная пена!

А внизу, там, далеко сияет море с водными велосипедами, глянцем обложек и загорелыми блондинками, а в летнем театре над пляжами играет Ростропович. Сидят под пестрыми тентами, пьют пепси и кофе. Собака отряхивается, вылезши из воды так, что кажется, сейчас отлетит с нее шкура и кожа – вся в ореоле брызг.

Синий мой мир, желтые небеса, сережки в ушах!

Дом с грудой антрацита во дворе, где мы с отцом играли в шахматы с шевелящимися тенями листьев на доске, его неожиданно тонкие детские ноги в шортах, выбежавшие и все еще бегущие из окружения, из цейсовского прицела танка.

Он же, дикий человек, кричит и движется. Каждое движение – судорога, каждое слово – паралич. След его в крови и смятении, душа его – рана. Красное слово встает над ним, несказанное, не вылепленное, слово без песни, слово как тело в прибое. Собаки лают и визжат на него, а внизу уже ждут – шофер с железным прутом, повар с лопатой и киномеханик с палкой.

Мычи, иди, кусок мяса, любовь моя, дитя мое!

Никто не знает ни цвета, ни смысла происходящего, и песни твоей нет цены.

Лунная ночь не выше беленой печи.

И когда ангелы славят Бога, крепдешин красавицы становится светлей, рыцарь с глобусом выезжает на дорогу, а человек по имени Кикоша идет в кинотеатр на свидание с продавщицей.

Только не останавливайся!

Дойди до Младенца в пещере - до самого себя.

## КОЛОКОЛ

Этот темный переставляет рояль из обветшалого угла – тяжкие пуды, похожие на противотанковые ежи, рассыпанные мешки света с битым стеклом, невероятный ковш земли, выпавший из объема. Так ходят мимы на ходулях, собирая и разбирая тьму мира из ила и перегноя – поднимая землю могил и свадеб до белого подбородка, до красной губы. Бугрятся мускулы, входя в коробки и коробки с землей – выходя из них, приравливаясь изгибом ноги к тяжкому ящику с клавиатурой и падалью. Растопырь руки, вешалка, загреби облака, встряхни оттрепетавшую рубашку в небо – вылетит тот, кого ищем. А тот поднимает ковши с землей и шарами из ржавого железа, а из высокой прически торчат в углы комнаты заколки – это ширится бревенчатый парус в ветер из синтетических материалов, над морем из вазелина. Зелень мелькнет – никто не схватит, но только утонет нога в битом стекле, в вязи и силиконе, а на тебе рюкзак из расчлененной на железо и свет крови.

Кто поднимет тело Младенца, когда некому поднять тело скорби. Не он ли лежит как переплавленный колокол, разлитый темным потоком по Ее коленям, не загустевший, не схватившийся, а все вещи отталкиваются и уходят – сваи от позвонков, небо от лица, енот от коленей и медведь – от век с каменными ресницами.

Подъязв младенца, подыми колокол плоти. Эти ноги никогда не ходили. Такой вес им не взять.

Да разве я не открываю невозможное слово - прямо на глазах, этими громоздкими вещами, неповоротливыми предметами, неподъемными скрипами? Калитками, которые не потянуть, губами, которых не разомкнуть, нотой, домкратами, монстрами, затопленными кораблями.

Да разве я не плачу чугуном и кровью глин, чтобы это-это-это сказать. Не слово, нет, какое слово у ребра сварного куба, у клешни зеленого рака, у шара, ушедшего в землю. Кто скажет колено, кто скажет мазут, лампа, шпала?

Скажи меня мной, и тогда я уйду, не прокляв ни одной овцы на свете. Ни луча, ни солдата.

Выговори, подыми! Все красные каналы города и рук – к яме жизни, где не нужны ступни. Какие могут быть ноги у выванного языка, кроме света в шторе?

## КУКЛЫ

Влажное шевелящееся стекло этот воздух в подземном переходе. Конь из азота скачет по облакам, у стены бомжиха в длинном рыжем пальто, высокая, нелепая, в сквозняках, на руках держит безлицую целлулоидную куклу, никуда не смотрит, словно ненужное дерево выросло за ночь.

Руки у нее большие, в цыпках; подмышками, в волосах и на лобке - вши, глаза голубые, выцветшие, голоса насквозь пронизывают ее, голоса ангелов, птиц и злых детей, рукоплескание голубей слышится от нее и хрустальная возня в спальне, под зеркалом - ах, детка, ах, детка, погоди, детка... — пронизывают и поддерживают ее голоса, как стакан поддерживает воду, чтоб не утекла.

А только куда смотрит твой младенец, твой дурень пустотелый, безлицый, со стертой с лица улыбкой? Дракон твой и оборотень куда смотрит, собой зияет, невинный, с одним глазом Медузы? Кого цепенит, кого убивает, кого в сталактит вложил?

Я иду в длинном пальто, втиснувшись между грудной клеткой и спиной, как лезвие рубанка, наклонно, остро, до крови.

Зачем она там встала, разве можно понять, почему летит птица и расширяется дерево?

Почему расходятся льды черной водой, а по волне плывет бот морестранника - среди кённингов и дельфинов, парус косой оброс сосульками, тюлени ныряют и обмерзли их жесткие усы, а на небе восходят и заходят сияющие луны и солнца?

Лед набирает силу и чистоту.

Прозрачно — во все стороны света, и рука паломника сквозь времена и пространства — красная на деревянном руле, а лицо — сияющий овал без черт, только с бороды свисают сосульки. Заходит свет и восходит свет, а ты, человек в нимбе лица, как в яйце, плывешь в страну правды. Пробирает свет тебя льдом, и, чем больше правды, тем

больше огня и льда, тем сильнее смеются морские львы и котики, тем выше взлетает альбатрос на волне с ледяной русалкой в когтях, с рыбой серебряной.

Плещут волны и льдины плывут как страны, и голубые глаза камбалы смотрят снизу в тебя - нет, не умрешь никогда. Ветер холодит кровь и волосы в дыму. Айсберги светятся и снежные девы с них машут. Непереносим холод, и одно лицо у тебя на весь мир – чистое, льняное, из правды и оловянных лучей.

Детство растет, наполняя меня собой - все просторней его цветущие грушей склоны, цинковая ванна с солнечными зайчиками, странная фигура, которая оказывается то между ладонями, то исчезает – оловянная, человеческая, а еще дорога под окном с темными медовыми прохожими, идут, переговариваясь и смеясь в темноте с танцев, и белый аккордеон в руках инвалида на повороте к порту, а я становлюсь все меньше, и вот уж не больше подковы, вот уж и лег, звякнув, на бок.

Сколько я их видел, целлулоидных кукол! Соберу, прожженных, замаранных, в глине, с лицами, исцарапанными гвоздем, с выдранными волосами, с заедающим железным словом ма-ма – и пойдем вместе, потому что я оживлю их словом ребис. Любым словом я оживлю их, потому что птица летит, земля смотрит, дева днесь пресущественного рождает, волсви же путешествуют.

## ПАСТУХИ

Из медузы он состоял, из сверканья желатинового, люстры хряща и света, а второй – из дождя. Падал дождь из глуби глубин, стучал, долетая до поверхности кожи с той стороны, пробивал кожу, светился водяной пылью вокруг рваной ноздри, мальчишеского лица.

С дождем изнутри падали птицы в ветре, падали на лицо изнутри светы звезд, блески лиц.

А третий, Эдип, - из крови и кирпича, и когда кирпич уходил, то кровь поднималась до плечи, а когда уходила кровь – был красен как Адам, как земля с железом, крошился как гравий. На него облака шли снаружи и кончались на коже, а с той стороны шел он сам и кончался на коже изнутри. И не мог он встретиться с облаками.

Эдип, он пас себя овцой,  
Как молния коленчат и спящ,  
Он среди чаш  
Лицо истер и ликом был как водопой,  
Безлицый и беспальный плач.

За первым пастухом шли овцы из желатина и бриллиантовой слизи, а за вторым овцы из водяной пыли, а за третьим - Антигона из кирпичной крошки, какую возят на платформах, и из слез. Ангел был словно полит креозотом, огромный холстомер, черный Беринг, доставший до неба внутри и снаружи, и желтое жало торчало у него из хвоста.

Бежала внизу дрезина, и рабочий швырнул куском столярного клея и пробил брюки насквозь и кожу, и он захромал и заплакал.

А антигону хоронили в земляном дереве, без веток и ствола, из одного дупла. И я вложил белое и черное своей жизни в белое и черное ее жизни.

Белое лицо, почему ты бело, почему не истерто? Твои ноги длиннее железной дороги и погребального плача, глубже нефтяной скважины, светлее стрекозиных крыл.

Осанна! Осанна в вышних и на земле мир и в человецех свет и благоволение.

Говорят тела, ставшие языками рыб. Выходя из себя и входя в себя, говорят тела.

В Венеции есть рука и ее не протолкнуть в черную воду.

Осанна в вышних!

Говорят они, ставшие языками телесного огня, раздваиваясь, как русалочка на ноги в платье. Говорят языки телесного огня слова-вещи, слова-жизни, живую слюду, лимфу и пластилин.

Эдип падал в собственную тень, как в озеро Венеции и вставал уткой с серебром подкрылка – кустом себя, брал кустом себя за лоб себя, чтобы вызвать слово из алмаза и языка, слизи и внутренностей кузнечика, что один трещит в степи, когда дождь.

А ангел пел, и изо рта его говорили рыбы и летели шершни, звеня на своем языке.

Не соединиться людям снаружи ни у Фермопил, ни под Сталинградом, ни в Василии Блаженном. Только внутри – общая подкова, сосна и тень на дороге. Внутри – дождь над поющей рекой, там же - Престолы и Начала.

Иди внутрь. Телесный огонь станет огненным телом – сияньем Габриэля, колечком на утином горле, а ноги станут следами, а руки касаниями, а череп вмятиной на подушке. Тем, чем был изначально.

Там-там! Рыбы говорят всплесками, а простыня коленками и травой, и шелковицей за окном.



Раскачивает нас ветер, шелестя нагой одеждой, южный ангел идет, весь в ветках и гнездах, а лицо как у дракона, а губы, как у Габриэлы на вокзале.

Тает медуза на темени, как на побережье, прекрасен ты мой возлюбленный!

Червь из ветви, ядра и картона.

Жизнь из света и смерти.

Мириады блестящих копеек, жилолицых ангелов – Господи, пуля пролетела мимо, живой, живой!

Младенец это слезы лица, незаметные как камбала на асфальте.

Что-то свершилось с нами: с рыбами, мальчиками и девочками, но мы не выговорили себя, не нащупали. Происходит – как кровь, волна и земля. Как перо в мазуте. Медленно.

## СЛЕДЫ

*Герману Власову*

Состоит ли дорога из следов, или это следы состоят из дороги? Не из следов ли состоят сами путники. Вот след удара – разможенный хрящ носа, вот след любви – завтрак, собранный в сумку, вот след соития – сам путник. След ветра – легкие, след камня – кости. Огонь – глаза.

Одинокое утро у моря – снег, выпавший меж сосен, устье серой реки рядом, камыш. Белая простыня первого снега и застывает пешеход – каждый след – чудо, птицы ли, человека. Но нет еще следа. Ни одного. Одна белизна.

След человека – мир.

Зачем мы печатаем себя столько раз – каждым выдохом, каждым ударом копыта, каждым словом, каждым движеньем плавника?

Левиафан кипятит океан, а Метатрон – эфир.

Младенец вдыхает и выдыхает – раковина просеивает воды.

Мир - не след ли плача и распятия, рождения и щеки на подушке, марша и драки у колодца? Не след ли он – всего?

Но есть то в тебе, Назарянин, что не оставляет следа. Ни в воде, ни в веществе, ни в глазах.

Нигде.

И только там исполняются твои обетования – плачущие блаженны, а матери не умирают.

Зачем же ты пришел в мир форм, в мир колодцев, пальм, автомобилей и компьютеров? Змей и хлеба?

Что ты делал в нем, какой след оставил? Не ложный ли, не ложным ли стал он, для тех, кто читал твой след?

Румянец на щеках матери, во Франции снег идет, завалило дверь сугробами, аэро-  
стат сбился с курса и волки рыскают по деревьям.

Что это, спросит мастер, оставив кляксу на листе бумаги. Клякса, скажет один ученик, рисунок, скажет второй.

Неправильно, крикнет на весь свет мастер, вы не заметили белизны!

## СОЛДАТ-ЧЕРЕПАХА

Ничем не хочу делиться, потому что делиться нечем.

Все гробы пустые, все следы выветрились, а яблоки распались. Снег падает в зеленую воду бетонного бассейна, сквозь которую просвечивает старый ботинок и летняя трава, падает и гаснет. Где она теперь – белая сумасшедшая бабочка, вся из нескончаемой ночи и крыл Камазля - ангела с Марса?

Солдат-черепаха ползет по стенке окопа, морщинистый от пыли, с твердыми глазами, в руке планшетка с расчетами и любовным письмом. Там же река Дон и школьный звонок.

Солдат-черепаха падает от взрыва, как подкова на дорогу, гремит и плюется, морда на прямой шее неподвижна, в тупом морщинистом срезе – ах, бабочки, кто б мог подумать, что сей есть муж скорбей! Прячется под каску, под череп, где же его мысли – а он сам и есть его мысли из слов и плоти, из крови и спермы, из глины и мрамора.

А он сам - голубой мрамор, ниобея лдяная, сфинкс с полными губами, с цыганской улыбкой. Снаряды летают над трупами, кричат как лебеди, скользят, как корова на льду. Тычется ветер в тебя, как пуля, не дает упасть, потому что оловянная подкладка крутится в водовороте трех морей, а дождь стучит о зонт, и кот похрипывает в ногах. А по вершине шкафа коцует дракон детского сна.

Хоронить черепаху – в глине, в пласте слез, в медузе.

Вот что происходит – этот, с руками скульптора мнет мокрую вату, вминая слой в слой, формуя, углубляя, продавливая и выгибая. Вот что происходит – с черепахой, припавшей к пушечному прицелу неподвижным запыленным глазом, в котором гуляют подданные золотые ангелы. Кто сцелил мои кости, кто выдавил череп, расчленил ноги на пальцах?

Мнет вату плоти, пейзажа, руки, ноги, облака, степь и мокрые танки.

А идут хрустальные младенцы, голенькие да звонкие, и несут гроб, в котором погоны да тупорылая морда, черная, пыльная, да лапы с когтями. Ах ты, сыночек мой глинобитный, перепелочка-черепаха, не уходи снова в землю, пожалей свою маму, бабушку Дашку. Донесите его деточки, не коснитесь земли!

Покажите его Богу, меня покажите Богу, наш дом и платан, и бамбуковую рощу рядом с мостом, и пыль-перепелку, и все на свете!

Вот кольцо бабки моей, цыганки моей – его покажу Богу – ветер да шаль, да перст портняжий насквозь.

Ползет черепаха, садиться ночью на лоб, поет как ручей, хранит от кошмаров.

## ХЛЕБ АНГЕЛОВ

Хлеб ангелов, из чего он, дорогая? Стрекозиные вспышки, слежавшиеся в невесомых пластах солнца над зеленым склоном в бельевых веревках? Сиянье и съедобный сланец, сродни веществу глаза – мягкому, полному лучей, колб, склонов и сожженных домов с лающими собаками там, на склоне.

Или он - хлеб из слез? – не уйти далеко от глаза в поисках хлеба. Слезы - не хлеб ли мира, потому что съедают мир, как дракон Левиафан, весь мир захлопывает в кровавый, напудренный жемчуг слеза.

А ты стоишь на коленях, и белая луна гуляет по белой спине полумальчика-полуженщины, а на полу стоит бутылка черного вина в оплетке и сигарета тлеет в руке. Это потому что я стал полудевочкой-полумужчиной, перемешавшись с тобой в хрустально-им лунном яйце из плоти и лучей.

Или едят его, хлеб ангелов, верблюды, или пьют его ондатры? Кто вытоптал его птичьими лапами до иероглифов - хлеб, хрящ неба, слюну жажды, что не сплунуть, не избавиться.

Не выплюнуть свою смерть наружу в айсберги, материки и хрящи, не выплюнуть жизнь, но разжевать. Жуешь себя самого – маленького человечка неба с разбитым людским злом красным виском, детским плачем на весь овраг, мамой, что села в белом платье в черный автомобиль, и прогудел клаксон.

А ты и не мальчик, а злой великан, бродишь среди стекол и стрекоз, ранясь и ищелаясь, играешь с ангелами в ножички, вонзая ржавое лезвие в очерченный на земле круг – земля твой хлеб.

Не плач ли твой, Дева, не червь ли стеклянный, не шум ли жестяной ветки над тобой? Такие есть на могилах – листья из жести.

А может, это время, которое ходит как стеклянный шарик в обувной коробке – туда-сюда, туда- сюда. Разве время не орган письма? Разве смерть не орган речи? Разве ты – не орган неба, с его хрящами, легкими, аэропланами и мокрым бельем 52 года на провисшей, подпертой ореховой рогаткой веревке?

Это я тогда лежал в стекле, и ты лежала на моих бедрах коротко стриженной головой, проститутка, дрянь, ученица 8 класса – мы, убитые у ручья. А наверху грохотал тир с его тяжкими самолетами и живыми стеклянными пулями. А источник рядом с твоей мертвой рукой ветвился как олень.

Из хлеба состоит пение, из хлеба – глаза, из хлеба ангелов – полковник с кортиком, из хлеба ангелов гитлер с волком и марлен-дитрих с чанкайши.

Твоя от твоих тебе приносяще о всех и за вся.

И сейчас я плачу у твоих ног, у твоего креста, к которому надо идти по воде на обрубках ног и сжимать его обрубками рук, и из вазы тела прорастает цветок. Красный, стеклянный, живой.

Я подарю Тебе дельфина. Я подарю тебе все, что хочешь.

СНЕЖНЫЙ СОЛДАТ





## АВРААМ

Для того, чтобы ты был один, нужно, чтобы ты был. Иначе, кто будет переживать одиночество. Но тебя все еще нет.

А пространство гнется в бараний рог, и путешествуют авраам и исаак по пустыне – тихо, бесшумно, незаметно, почти став буквами, из которых состоят их имена, почти утихнув, почти истаяв. И если б не буквы, кто бы удержал их сердца от таяния, похожего на таяние леденца во рту или льда на красном языке.

Белые рога агнца то закручиваются, то расходятся как пружинный маятник в открытом механизме часов.

Кто удержит нас от путешествия, в котором уже нет букв, сохранить наши имена и наши тела?

Грудь что провалилась в необъятное, грудь Авраама, отеческая, белая, тщедушная – разве удержит ее хоть одна буква, хоть одно слово. Разве не растает там, где вход меж белых ребер.

Исаак, Исаак, не гони золотой обруч по синей пустыне. Сдержи серебряные бубенцы в горле. Разве мы не обречены на невозможное, если хотим хоть как-то быть? Разве не невозможно мы сами, как оловянный тигр или трехтрубный мальчик? Вот почему судорога и отцовская любовь – одно и то же. Разве не обречены мы на судорогу времени в слезе – тихой и тающей. Разве не обречены на тысячи черных солнц, разрывающих уста рожениц и погружающих города на дно Аида?

Убить сына – войти в невозможное. И если войти в невозможное – убить сына, то ты убьешь его. Но в невозможном не умирают – ни розы, ни агнцы.

В невозможном ходит Рембрандт, трясет своей белой отвислой грудью, которая никого не вскормила, и плачет о сыне. А я лежу голый на полу коммуналки и в спине у меня черная дыра веры.

Судорога сотрясает роженицу, и судорога предшествует смерти – дверь в дверь.

И когда ты встретишься с испепеляющей бесконечностью и все будет напрасно, не станешь Никем, как Улисс испугавшийся циклопа.

Оставь от себя то, что не горит в огне флегетона, в миганье болотных огней – и иди. Иди тем, что от тебя осталось на огненную стену плача, на лавину невозможности.

То что от тебя осталось – разве не этого хотел Яхве от раба своего Авраама?

То, что от тебя осталось – не все ли слезы мира, не весь ли его отчаянный вопль?

То, что от тебя осталось – не бездна ли, из которой взойдут все райские миры и родится новое небо? Не все ли родятся из нее заново?

Мужество воспрепятствовать исчезновению в твоём Высшем. Ибо оно и есть твоё Высшее. То, что осталось, когда ты спорел.

Начало огня, начало тел, плач Авраама, выбитый ягненком нож.

Улики творения.

## БАЛЬЗАК

По мере того, как этот переодетый человек, похожий на кипу слежавшихся листьев, слушал музыку, она плотнела. Сначала она оплотнела как Бальзак, а потом, как здание с многими этажами, куда проникали его руки, тело и глаза. Они проникал и в Бальзака, но в здании они двигались быстрее, словно бы сбивая из масла сыр – из воздуха снег.

Бальзак был без рук, как и ника, как и все, кто хотел обнять друг друга, потому что никто не может никого обнять, и, когда Анна провожала мужа на войну, она и тогда была торсом с отбитыми руками, и только сердце бежало вдоль ребер на мелких кровавых ножках и несло с собой всю правду. Оно знало, что обнять невозможно, что одиссей провалился в мать и не обнял ее в аду, а потому и наверху никто никого не обнял - ни мать, ни отца, и безрукий торс, похожий на сердце делал свою работу, обнимая жизнь изнутри каждым своим толчком, как тот пульсирующий атлет в ватикане, вокруг которого в дерьме и следах простаивал Микеланджело, заглядывая ему под кожу, где пряталось объятие анны.

Бальзак никогда не видел свою голову, потому что она уходила в небо мельче горошины, но он любил снег и еще одну деву, про имя которой он забыл, а если бы вспомнил, дева пропала бы в своей польше навсегда.

Я помню бальзака. Однажды в детстве я его встретил, и тогда он состоял из одних родинок, а всего остального не было. Были родинки – красные, выпуклые, неправильной формы, мелкие, как снежная крупа, но я все равно знал, кто это, когда он шел и напевал куплет про крысу и магнолию. Он был похож на стаю мошкеры, только из меди и мягкого языка высунутого как-то набок, будто у пса.

В музыке, которую слушал переодетый человек, летали ангелы, похожие на чаек, и чайки, похожие на смертных безгрудых дев, оттого, что они так и не смогли крикнуть, потому что когда кричит музыка, то воздуха не набрать.

Он был тяжел как гиля с кровью и жиром, но все равно ничего не весил и состоял из неба и колокола. А говорил он так: бу-бу, бу-бу, и понимала его одна Люпа, которая как-то сломала ногу Витьке-Уркагану, катая его в строительной тачке по бортику пустого бассейна, и тот, когда нога срослась, избил ее так, что она стала невменяемой.

Еще между родинок все время кто-то рос и летал – жирное белое существо, и это не был балзак. Объятье нельзя раскрыть правдиво, как дающую руку, но все тело можно однажды раскрыть так. И тогда балзак свистит свою тихую песенку, и все умершие вздрагивают и шевелят землю, словно она муравейник.

## ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР

Тогда я подумал, а как он выглядел этот великий инквизитор? Каков был его внешний облик? Ведь есть же внешний облик у дыма, лица и летучей мыши. Внешний облик - это то, чего с точки зрения одного человека вовсе нет, но другой может посмотреть на него и вместо того, чтобы умереть, остаться живым, а потом еще и отыскивать этот облик в других людях и животных, потому что решил, что в нем сила жизни и бессмертия, которую всегда хочется потрогать и не умирать больше.

Поэтому внешний облик располагается отчасти на подушечках пальцев, и если вы ощупываете мертвое лицо, как какой-нибудь Гамлет трогал лик своей ненаглядной, то это оттого, что вам хочется вернуть ей ее внешний облик, который теперь стал внутренним, а она пошла за ним сначала вплавь по ручью, а потом еще дальше.

Все думают, что она лежит, а она идет так быстро и столько с ней происходит всего сразу, что глаз человека, не вынеся такого количества бесплотных движений (а их бесконечное множество, и, хоть каждое легче пера, но все вместе они как неподъемный зевс из мрамора или смысл вселенной), - не вынеся зевса и смысла, человеческий глаз хватается за привычное изображение мертвого тела. Только кто же видел мертвое тело, если это один обман зрения? Тела – все живые, а то, что вы видите – это один обман зрения от миллиона движений, которых глазу не вместить.

Так вот внешний облик инквизитора – это развевающийся флаг, потому что он все время говорит о свободе, которую он отобрал у народа, потому что народу не вынести своей свободы, и она для него нестерпимая пытка. Он очень красивый и похож на развевающийся флаг синий с белым на флагштоке.

Он очень нежный, этот инквизитор, потому что автор его вымечтал как задушевную и глубочайшую свою идею. Свобода это ж живая вода, а, не испив предварительно мертвой, как выпить живой? – выпил и умер. Нет, сначала надо умереть, а не разгла-

гольствовать, а потом уж впускать свободу. Вот, как Офелия, например. Вот почему она плывет по реке, которая стала флагом и развевается в ветре, а в глазах инквизитора любовь, тоска и нежность.

Еще есть говорящий кузнечик и соломенный попугай, но они тараторят редко и все равно потом молчат.

Но свобода никому не нужна, потому что если ее взять, то кто будет чистить картошку или кувыраться в ламборджини или еще в чем. Это как залезть в воздушный шар и полететь в антарктиду духа, да еще совершенно одному.

Вот и ныряет Офелия во флаге, а инквизитор развевается в ветре под музыку духового оркестра у порта.

Матросы маршируют, играя ленточками бескозырок в ветре, авианосцы переваливаются, вообще совершается так много быстрых движений, что мы принимаем их за что-то другое – корову на пляже в Ялте или двух наездников, гонящих козу с горы. Иногда мы принимаем их за нашу жизнь. Только что может быть общего у Офелии и козы с нашей жизнью, когда это одна сплошная чепуха и наваждение, и тот, кого арестовал, а потом выпустил инквизитор, молчит как тихий ручеек, по которому плывет распеваящая свои пустяки обманутая дева.

## ВИДЕТЬ ЧАЙКУ

Мы не видим вещей. Наивная уверенность, что я их вижу - следствие общественной болезни восприятия. Вчера на прудах наблюдал за чайками, которых было очень много. Сначала видишь эту сторону чайки. Но, если не торопиться, то постепенно проступает и та сторона. Нежнейшее, тончайшее, не подлежит распаду, и вот идешь в ту сторону, где ТА чайка, которая предшествует надоевшей и грубой, якобы единственной форме. Там - чайка той стороны, от которой дух захватывает и входит радость. Как же она - она! Как же нова и свежа! Как же она неразрушима, невероятна и подвижна! Потому что она продолжает скользить во все менее грубые слои, проходя те же уровни своей природы, которые в Песнях Данте обозначены, как небеса - Луны, Венеры, Марса - до неподвижного неба и дальше - туда, за Эмпирей, где изнемогает высокий взлет духа и остается одна родина вне слов и форм, в которой и ты, и чайка - одно и то же. Видеть чайку - это пройти по планетам, высотам, истончениям, предшествующим внешней форме, которая с ними уже не - внешняя.

Видеть только наружную чайку - это как видеть верхушку айсберга, или коготь льва. Ни то, ни другое, не является ни чайкой, ни львом, ни даже тенью от них. Скорее уж тенью тени по Тютчеву. Этим в большинстве случаев и довольствуемся.

Та сторона есть у голоса, ветра, яблока, слова, некоторых (о, не всех!) стихотворений. У всего живого.



## ВСПЛЕСК

видно, при поцелуе не поцелуй - пламя из моих раздутых щек вошло за твои раздутые серной кислотой с леденцом щеки. Видно, мы обменялись стихиями и ядами. Нас все время выталкивало вверх, как невидимая стрелка аэродинамической силы нацелена на обшивку самолета или брюшко пчелы. нас влекло вверх к рваным облакам где твои полные губы никто бы не смог поймать в фокус.

мы сидим в баре с самолетами за окном, какой смысл им сейчас так грохотать, если они легче воздуха как и твои глаза, пусть летят тихо, отсвечивая на глянце волос из льна и льда

сколько же народу здесь собралось вокруг коктейля с названием шампань де коблер – красные карлики, голубые бабочки, рваные медузы в волне и этот, багровый и без костей.

знаешь, суть в том, что и льдинка коктейля, и самолет, и вся наша с тобой жизнь теперь уместятся в шляпе или еще где-нибудь, неважно, ну скажем в чешуйке окуня, холодного и мускулистого.

есть невидимый всплеск, похожий на тот, что возникает под лопастью весла – невидимый, как мы сами. это к нему налипают потом волосы, ребра, позвонки, белые плечи, как снег к ветвям. откуда он приходит и куда бежит дальше, прозрачный, неотменимый, всесильный?

за окном на асфальте стоит красный мотоцикл с бензобаком похожим на красный плащ и сейчас это центр мира. самолеты дальше от него, чем мы с тобой, а ласточки связаны с ним на ощупь тепловой гравитацией. есть еще норвегия со льдами, упершаяся невидимой стрелкой в красный, с отсветом, бак, ну, и все остальное.

как выпуклая шляпка гриба, поднимая листья, восходит плечо из-под земли – мое нижнее солнце.

красный, как мармелад, мотоцикл.

## ДЕД ВАСИЛИЙ

Мир распахивается в ответ на углубление твоего взгляда. Глаза становятся меньше, как кульки из газет, в которые раньше засыпали дикую вишню, они удлиняются остриями внутрь, захватив стекло из состава зрения. И тогда в груди разваливаются орган и клетка, мелькают какие-то куклы с нашитыми вместо глаз пуговицами, и ты видишь, цинк умывальника и, как тоня трет мылом подмышки над оврагом с баками для нефти.

Человек, сложенный из галочьих гнезд идет вдоль барака, минуя летнюю кухню, отражаясь в ее окне с огоньком керосинки внутри.

Двор и снег сползают с прозрачного стекла, с лика, с воздуха. И все время лопаются – деревья, холмы, санатории, но, открыв на миг сияние в трещинах, сразу же жадно затягиваются, как трясина после брошенного камня. Мир надтреснут и светел.

В самом дальнем сарайчике, засыпанном рыжими сосновыми иголками по пояс, старый казак с седой бородой и с серьгой в ухе варит на примусе суп. Вонь чудовищная. Меня вот-вот вырвет. Я бегу оттуда держась за горло, и во весь свой стеклянный рост передо мной дышит обнаженная и млечная красота.

## ДОН КИХОТ

А что про Дон Кихота вы сочтете истинным?

Не тот ли он, в ком можно заблудиться как в бублике – войти туда, а выйти сюда. Говорю же - в нем больше синего неба, чем в бублике или кузнечике. Бублик состоит из множества кругов, приплюсованных друг к другу таким образом, чтобы они, слегка изгибаясь в своем слипании, образовали кривую фигуру с дыркой внутри и замкнулись. Кому удастся такое проделать, кроме дон Кихота? Ведь вы никогда в здравом уме не сумеете плюсовать кругами, слипаясь, одновременно загибаясь так, чтобы потом совпасть с самим собой, да еще вдобавок неотрывно следить за тем, чтобы посередине все время зияло и проходило небо с обеих сторон, то есть целиком все небо, а не какая-то его синяя часть. Вы не сумеете – а он смог. И кривиться и плюсоваться, и совпасть, и пропустить небо.

Вообще, он живет у сестры за родинкой на лопатке. Сестра убила кошку и тогда у нее появилась эта родинка. И тогда она стала отрекаться от всего. Сначала перестала раскрашивать ногти. Потом отреклась от своей красоты, плеснув в лицо кислотой. Она кричала и билась задирая белые прекрасные ноги к потолку, но никого не пустила ей помочь. Потом она вытащила все ленты из своих кос. Потом выпустила всех красных крыс, которых собирала так долго и научила разговаривать. Потом она разбила свой BMW о дерево. Она сказала, что ее больше нет. Что убивать тело не надо, достаточно от него отречься. Но родинка долгое время оставалась у нее на лопатке. Тело уже стало прозрачным и словно несуществующим, а родинка разгоралась все сильнее как черный костер.

Потом она отреклась от родинки с Дон Кихотом, и тогда ее окружили серебряные лица. Они кружились вокруг нее, как стая рыб – серебряные, зрячие, посмертные маски звезд и народов и что-то ей шептали, потому что любая посмертная маска – живое лицо.

Как сейчас вижу – сестра, словно палочник, прислонилась к дереву так, что ее и не видно, что не видно даже того, что ее нет, и никакой она не палочник, а вокруг медленно

кружатся серебряные лица, что-то шепчут ей тихо прямо в лицо, а мысль ее уплывает в небо, медленно и изгибаясь, как если бросить в тихую воду носовой платок.

Я отнес ее фотографию на могилу, где похоронен наш отец, но она думала, что отнесла фотографию она, хотя, как она могла это сделать?

А вот стать новым миром с новыми людьми, насекомыми и облаками она может. Откровенно говоря, она им и стала. Мы все давно в нем живем, только никто про это не знает и не узнает, пока сам не отречется от всего, даже от родинки с Кихотом.

## КАМЕНЬ

Я поднял камень, а камень поднял меня. Я ощутил его под пальцами – зернистость и холод, а он ощутил меня под моими пальцами. Я взвесил его в ладони, а он взвесил меня моей ладонью. Я подбросил его вверх, а он меня вниз. Я положил его в карман, а он окружил себя моим карманом и мной и положил меня вне. Я подумал о его тяжести, а его тяжесть подумала обо мне. На самом деле нет ни меня, ни камня, но есть одно существо, состоящее из меня и камня. Но не только. Это существо состоит, в зависимости от направления внимания, из меня и лодки, меня и птицы, меня и горизонта. Если идти дальше, я - это метаморфоза, могущая быть лишь собой и другим, но также способная быть существом и единством всех вещей и всех форм мира. Это и есть новая земля.

## КОМНАТА

надтреснутый бронзовый кувшин неказистые рамы створка открыта  
голая стена с трещиной серебряная тень сломавшейся простыни чего хочет  
тут морской ветерок залетая чего ищет горизонт словно вдвинут в комнату  
этим запахом водорослей далеким белым лайнером но на голой стене  
нет ничего голое тело на нем нет ничего кроме шевелящегося локона  
он бы и на мертвой шевелился от бриза голое тело с синей линией  
горизонта звон кувшина долетая накрывает лайнер к смерчу из детского всхлипа  
и серебряной чешуи тело состоящее из себя самого на простыне  
голое тело у отдаленного от него горизонта высмотренное голым телом с лайнера  
белым как гипсовый шар под солнцем на лестнице к морю у каждого  
своя комната

## КТО

Сказать эту женщину. Ее звали Пузыня. Изогнутая в кочергу серая проволока пусть гонит обруч, а кочки и камушки гостят в голых пятках, скажи. Как они раскалились. А деревянное оно было, да? Здание туалета. Толь под солнцем капает. Земляной брасс – разве у тебя не получалось – лоб движет пузырящуюся землю, ноги проталкивают. Пусть сюда никто не войдет в это млечное тело с пальцами на ногах вовнутрь. Соловей изнутри тяжелее массы земли с ее болотами и гривами, а снаружи – перо, прах. Все это я несу в котомке как залатанный Дурак Таро. Дайте мне выкрикнуть это комом земли, комом света. Пузыню, а рядом тень архангела со стальным мечом. Земляной заплыв. Я лучше соловья – все уместится у меня в кадыке. Моя вещая котомка, хлопоты дурака.

И глаза, синие как газовая горелка.

Совесь на манер полиэтиленового пакета на ветру, не входит в ребра, шуршит и облепляет.

Футбол, когда мяч плющит гениталии и проникает в живот.

Кто? Кто ходил между всего этого? Незамеченный, млечный, неуловимый? Бледный, как личинка под оторванной корой, вещий, слепой с огромными лошадиными зубами? Кто?

Одно ясно, когда пытаешься перебраться ему под кожу, ничего не получается, кроме нездешнего света и ангельского то ли пенья, то ли мычанья.

## ЛЕВИАФАН

*посвящается отцу, лейтенанту Л. Ч.*

Когда он открыл глаза, то услышал гул в голове и сквозь него увидел убитых, лежащих вокруг орудия. У Николая был выбит глаз, и из темной алой глазницы висел нерв, а двое других легли голова к голове, как будто бы в согласии о судьбах мира и понимая друг друга. Он попытался встать, но у него не получилось. Он слышал звук танкового дизеля. Надо было быстро вскочить, успеть дослать снаряд в ствол, поймать цель и выстрелить, иначе через минуту гусеницы вомнут в землю и орудие, и его самого вместе с телами уже убитых.

Он попытался опереться руками в землю, как тогда, когда бывал сильно пьяным и все вокруг кружилось, но на этот раз рук не было. Он дернулся еще раз в траве, присыпанной комьями глины. Дернулся снова и снова, ощущая вокруг серебристый отблеск. Когда он сильно бил ногами, то голова его немного приподнималась над землей, и с небольшой возвышенности, на которой стояло орудие, можно было разглядеть приближающийся длинноствольный и квадратный Pz IV . Он ударил ногами в землю изо всех сил в попытке все же встать и выстрелить по танку, но понял, что у него теперь вместо ног хвост, а сам он превратился в рыбу.

Он стелился по земле, подскакивая иногда на метр, как это бывает с только что вытасненным на причал окунем, сверкая в солнце и изгибаясь всем телом, но все равно не находил точки опоры. Он думал, что где-то ведь должна быть вода, куда он может соскользнуть, вздохнуть поглубже и, сильно ударив хвостом, незаметно уйти в зеленый глубоководный омут и там переждать напасть. Он думал, что если не оставлять усилий, то у земли должен же быть где-то край, и там плещется вода. Поэтому он бился и сползал с возвышенности все ниже, но весь его трепещущий и разливающий серебро



с влажной синькой путь был совсем коротким, не больше длины тела, а танк лязгал и рычал, поднимаясь на холм уже в каких-нибудь дюжине метров от позиции.

Он подумал о жене и что у него больше не будет рук ее обнять и прижать к себе покрепче, но подумал ненадолго и как бы вскользь. Еще он подумал, и тут время словно стало останавливаться, что, наверное, многие рыбы, камни и коровы раньше были людьми, как и он, но об этом никто не догадывается.

И в этот момент он понял, как устроен мир, и что рыба и человек могут быть одним и тем же, только разрезанными словно прозрачным стеклом посередине, и для жителей с той стороны стекла ты – рыба, а с этой – человек. Это ничего не меняло, и теперь, уходя в глубину зеленого с золотой искрой омута, он знал, что его любовь к жене лишь с виду такая маленькая, а на деле она живет к каждому деревцу и рыбе, и мальке, и глине, и даже в Николае, мертвом и с выбитым глазом, который от этой любви тоже не умер, а просто плывет в то место, куда ему лучше.

Он завис над песчаным дном, все еще жадно работая жабрами, прогоняющими кислород по крови, чуть пошевеливая хвостом, и увидел своими человеческими глазами, но немного размыто от дальновидения, как огромен дремлющий в тихих водах Левиафан. Он был так велик, что ни танку, ни солдатам в нем, ни жителям горящей неподалеку деревни не могло придти в голову, что живут и умирают они на спине огромной рыбы, а вернее, на одной ее чешуйке, а тело и хвост сонного исполина простерты в бесконечность. И еще он увидел, что Левиафаном был – он сам, выросший в него неизвестно когда. Он мог бы припомнить, как это случилось и даже со всеми подробностями, но не хотел, потому что знал, что все это было неважно. Он знал, что со временем он перестанет дремать и зашевелится всем телом, а потом выпрыгнет, потрясая состав природы к самому черному небу, и тогда все станет по-другому – и холм, и горящая деревня и бьющаяся рядом с сорокапяткой большая серебряная рыба, и от этого на

него медленно наплывало счастье. Когда всходила луна, отражаясь в черных водах океана, счастье добиралось ему до сердца, но на ущербе откатывалось и холодело, скудея. От этого он никак не мог попасть в предназначенное ему блаженство и каждый раз, медленно и мучительно теряя его наплыв, чувствовал себя обманутым и шевелил плавником, от которого вздымалась и шла дальше волна, затопляя острова и пляжи.

Он все еще танцевал с Ларой на танцплощадке университета, вежливо и осторожно прикасаясь к ее талии ладонью, и тут ощутил, наконец, пьянящее счастье, пришедшее ниоткуда и навсегда. И оно только усилилось, когда в ответ на его вопрос она назвала ему свое имя, дрогнув длинными темными ресницами. И он, закрыв глаза, продолжал свой блаженный танец, слившись воедино с мелодией оркестра, золотыми косами и легким запахом «Красной Москвы», а из носа его текла черная мертвая кровь.

## МАРИЯ, ДОЧЬ ШОТЛАНДИИ

Вокруг чего кружатся складки твоего платья, Мария, дочь Шотландии, пока ты танцуешь в Париже танец в одиночестве?

Вокруг чего зацветает цветок, косящий во все стороны глазом, который больше стен мира?

Вокруг чего сворачивается догорающий лист бумаги?

Девушка, из торса которой растет краб с клешнями, звезда над мостом, вот мои спутники в юности.

И еще конь, под кожей которого, пока он бежит вдоль трибун с голубыми облупленными лавочками, мышцы работают как шелковые поршни - туда-сюда, туда-сюда, и раздаётся хрип, а букет пены падает на землю с оскаленных зубов, желтых, растущих вперед, как у крысы. Да, его резцы похожи на пальцы, зажавшие комочек плава, зажавшие вытоптаный снег легких, выстреливающий в даль. Х-р-р-р-р! Х-р-р-р-р! Как ядра перекатываются мускулы по подкожной палубе, пока судно раскачивается на размеренной зеленой волне – вперед-назад, вперед-назад. Безумное око его как яблоко, как яблоко, как яблочные, виноградные глаза удушенника, вывернуто назад – грязь бьет в лицо жокею.

Вокруг чего располагается нагота? Эх! вопрос не столь наивен, как мне могло показаться там, на трибунах. Пока облачка пара из ноздрей, вспыхивая, как дымный порох, хрипло распределяются по линии вдоль трибун, скажи мне, вокруг чего располагается нагота? Где ее больше - в глазах, на губах, на веках или когда человек уже умер и лежит обмытый на stole?

Что такое нагота, кто знает? И что делает свет – одеждой?

Кто живет в центре наготы, и можно ли там выжить?

Монгольские ханы, снимающие кожу с пленника, святой Варфоломей с лицом художника, держащий кожу в руках. Есть ли нагота под кожей?

Я сижу на трибунах – никого, кроме меня, ветра и морды коня, похожей на свечу в застывшем рельефе мощных парафиновых потеков.

Я путешествую в ту страну, куда повернута, исчезая в развороте, нагота вещей – их свечение, в котором ангелы не отличают живых от мертвых, куда я простерт как мир, начавшийся с внутренней полости наперстка, чтобы вобрать самые дальние болиды и звезды.

Где моя внутренняя сторона наперстка?

Не там ли, где нагота первой влюбленности, которая не была наготой?

И если конь не посмотрит на меня миллионами глаз, разве я увижу его?

## ОДИССЕЙ

Вот он стоит и смотрит на свои корявые руки. Может показаться, что это руки какого-нибудь таджика, роющего могилы или траншеи, но это руки морехода. Он вкладывал себя в них, изобретатель деревянного коня для дарданцев. Он вкладывал в них море с чайками, провизию в трюме с крысами, острова и пляжи. Можно вкладывать себя в лицо, а можно и в руки, и тогда они будут похожи на лицо, которое проступает из мозолей и ороговевших от весел суставов. Они словно бы раздаются от больших объемов и зари и криков хорька и черной крови, как рюкзак от котелка и палатки и костра.

Впервые меня научили обклеивать крыло самолета в Горьком, за столом, где мы гнули на огне свечи бамбуковые нервюры, оставляя темный след огня по узкой желтой полоске дерева. Это чтобы крыло было выпуклым, а потом, мы наклевали на него мокрую папиросную бумагу. Высыхая, она натягивалась и становилась гулкой и белоснежной. Самолет был большим, растопыренным и торжественным.

Над оврагом он толкал его, закрутив резину пропеллера до отказа. В теплом воздухе вечера самолет отрывался от руки и медленно шел между соснами, пересекая розовые полосы теней. Внизу лежат сосновые иголки, устилая по холмы все ниже и ниже, упираясь в мощеную булыжником дорогу, а самолет медленно летит над землей, не задевая сосен.

Он вкладывал себя в самолет, и поэтому теперь летел отдельно от него, легши на грудь и соскользнув, вытянувшись рубашкой, в воздух оврага, теплый и медленный. Он был прозрачен и розов, как трубка голубиного пера с кровью, если посмотреть сквозь нее на солнце. Чего только не росло теперь на его теле – грибы, словно черепахи, чужие и длинные волосы, какие-то гребни и водоросли, но сам мальчик был бел и гол. Он и сейчас там летит рядом с самолетом, покачиваясь и касаясь его правой рукой, - между рыжих стволов к дороге.

Рука создана для земли и волны. Реже для полета. Если я вкладываю себя в воздух, от меня ничего не остается, потому что как земля смешивается с землей, воздух смешивается с воздухом.

## ОДИССЕЙ – 2

Последнее путешествие Одиссея, то самое, которое ему предрек Тиресий, заканчивалось. Он уже повстречал того человека, что, указав на весло, лежащее у вечного скитальца на мускулистом плече, спросил – зачем тебе эта лопата? И тогда он вспомнил предсказание Тиресия, вышедшего на запах бараньей крови, о том, что этот вопрос будет означать конец путешествий и упокоение от странствий. И еще он вспомнил, что и там, в стране мертвых, он видел этого человека с черным зеркалом вместо лица, которое, тем не менее, обнаруживало на своей светлой внутренней стороне, скрытой от зрения, отражение крестьянина с большим красным носом и прищуренными от солнца серыми глазами землепашца.

Тогда он видел его словно бы выходящим из-за спины Тересия, с овальной амальгамой лика - тень среди множества других теней, но куда более ярких и заслуживающих внимания, чем этот ничем не примечательный раб, каких он видел сотни раз, и никогда никто из них не смог поразить ни его ока и ни его ума.

И сейчас, услышав этот вопрос, он вынужден был признать, что время остановилось.

Но это было не все. Раз тот крестьянин, который стоял тогда за спиной Тиресия, и есть этот землепашец, стоящий здесь на красно-песчаной дороге с черным кипарисом вдалеке, то и он, Одиссей, стоявший там, в яме мертвых, продолжает стоять не только здесь, в этой неведомой стране с веслом на плече, но и в это же время, прямо в этот же самый миг сейчас, задает тени Тиресия свой вопрос о возвращении.

И тогда он вспомнил, как однажды ясно почувствовал, что никогда не упадет, даже если в него выпустят с десятков стрел и все они достигнут своей цели – голого мускулистого человека среднего роста, с зеленым платком на голове. Что не рухнет он на мать-землю, не войдет снова в ее чрево. Нет, никогда.

А сейчас он почувствовал, что раз этот человек делает его, Одиссея, и незнакомый пейзаж вокруг - тем же самым, что Одиссей и пейзаж загробной Киммерии с ее асфоделями и бессмертниками, растущими меж призраков и теней, - делает этих двоих одним и тем же Одиссеем и пейзажем в единый миг времени, то значит, не только сам Одиссей, но и все люди земли и все тени Аида – бессмертны наравне с ним, даже если оставить в стороне нехитрые фокусы с зеркалами.

Мы малонаблюдательны. Иначе каждый давно бы понял, что уже встречал человека с черной амальгамой вместо лица, по крайней мере, дважды, а следовательно, каждый миг нашей жизни – это один и тот же миг, в котором люди, видения и призраки пребывают на равных правах, и нам надо лишь выбрать, кем мы хотим стать в это мгновение – ангелом, человеком или деревом. И выбор этот да не будет тщетным! Ибо, в конце концов, понимаешь, что человек с черной амальгамой вместо головы и есть ты сам. Иначе как бы ты смог разглядеть спрятанные оборотной стороной зеркала очертания другого лица?

Смешно сказать, но вышеизложенное относится не только к великому страдальцу и страннику, но и к каждому из живущих – от несмысленного мальчишки с разбитой коленкой до торжествующей девы и умирающего старца.

И теперь только от тебя зависит, жить ли тебе вечно или покончить с собой. Мы, благодаря ряду вполне литературных обстоятельств, знаем, что выбрал Одиссей. Вернее, вполне можем догадаться.



## ПАН

В конце концов, мы с сестрой, сбившись с дороги, набрали на светлую под луной опушку леса и увидели человека во фрачном наряде, который, крутясь на одной ноге, проборматывал всего несколько гласных, звучавших приблизительно, как э-и-о, или э-и-а, я точно не расслышал. При этом он описывал руками странные спирали в лунном воздухе и подпрыгивал все выше и выше до тех пор, пока широкополая шляпа не свалилась у него с головы. Тогда он, горестно всхлипнув, присел на корточки и достал из правого кармана свирель.

- Он будет играть? - спросила меня сестра.

- Тише, тише, - сказал я.

Меж тем Пан спустился к озерцу по крутому откосу, и мы увидели, как песок, словно лунное золото, осыпался потоками под его копытами.

- Он будет играть? - повторила сестра, и я вновь услышал в ее голосе безнадежную усталость, которая пугала меня еще со вчерашнего утра.

- Пойдем, - сказал я, пойдем.

- Нет, - вяло ответила она и опустила на траву. – Он, наверное, сыграет.

Я уже понял, что нужно уходить отсюда как можно скорее, но когда я попытался ей это объяснить, она лишь посмотрела на меня своими плоскими и серыми под луной глазами и отрешенно помотала головой.

Меж тем Пан разобрал свирель, разламывая мягкий пчелиный воск, скрепляющий ее тростниковые колена. Вот он осклабил и переломил хрупкую трубку. Я увидел, как из нее посыпались фигурки, которые, едва долетев до травы, начинали кувыркаться и скакать по ней, как вослед за ними на дерн посыпались горящие города и странные человечки с алчными лицами, которые у них все время сползали с шеи, и они были

вынуждены поддерживать их единственной рукой. Последней выпала женская фигура, казалось, нарисованная одной непрерывной линией, которую она силилась замкнуть где-то у плеча, как непослушную брошь на платке. Ей это удалось, она вспыхнула, как зажигалка на ветру и исчезла, и тут Пан посмотрел в нашу сторону.

- Ну же, - сказал он сестре, - иди!

- Это не тебя! – крикнул я ей в самое ухо – не тебя!

- Меня, зевнув, ответила мне сестра и поднялась с земли. – Он хочет, чтобы я сыграла. Она подошла к Пану и села рядом.

Он протянул ей свирель.

Она заиграла, и я никогда не забуду, как она на моих глазах превращалась в старуху.

И если бы не небесно-голубой взор и короткое детское платьице, расползающееся на смуглых старческих коленях, я бы уже никогда не узнал своей сестры.

Но она играет до сих пор. И до сих пор я слушаю небесные созвучия, извлекаемые на свет ее детскими устами. Редкие путники, проходящие через лес, принимают меня за обломок камня и, устраиваясь на ночлег, разводят подо мной костер, но они ошибаются, уверяю вас. А может они просто очень устали с дороги и им теперь не до музыки.

## ОН

*Николаю Болдыреву*

Я бы не знал, как его назвать. Он был чистым именем и остального, казалось, у него не было ничего, даже сестры. Вы видите запутанные чудовищные коряги корней, и, когда они исчезают, то и остается только то, что уже не коряги, а сквозь что можно увидеть все что угодно, вот таким он и был.

Ночью он приходил ко мне ступая по подушкам, а я лежал, обливаясь кровью младенческих снов, пока за окном вопили шакалы, как банда бухих школьников, вываливаясь из бара. Я всегда знал его.

Потому что, глядя кота и его трепещущую шерсть, я слышал треск и видел этажи неба.

Ко мне приходила девочка, и ниже грудины у нее не было ничего, а я расплзался по складкам простыни, словно это во все стороны расходились льдины и я вместе с ними.

Он без имени приближал барак напротив и снова удалял его, и пахло мандарином и кричала бабочка. Ао! - так она кричала, и пена текла с ее маленьких частых зубов.

Он не приходил и не уходил – светлый, как стекло с отбитым краем - только по блеску края и можно было его угадать. Как селедку по блеску чешуи.

Прозрачные мышцы сцепили все события на свете – приход смуглого отца, ночную бабочку, влетевшую в окно, санаторий на той стороне горы, щелканье пуль по мишеням в тире на склоне. И даже юную деву в небе Сатурна, и мавзолеей с двумя лежащими и нетленными, и полет комара в 2002 над Окой, с отраженным костром, кто бы сказал, что у него нет имени, кто?

## ПЕРЛАМУТРОВАЯ СТВОРКА

*Борису Ориону*

Перламутровая створка моллюска, которую однажды нашел то ли в пыли, то ли в волне. Потом ее теряешь, но все равно чувствуешь стекло ее обломанных краев на ладони. Все равно чувствуешь, как она переворачивается в волне и тебя переворачивает вместе с ней, как будто ты уже зашел туда, где эта волна обнажает свое лицо и открывает на тебя свои ввалившиеся и неподвижные глаза. И ты поднимаешься над землей, как над собственным затылком, и безвольно летишь спиной вбок, легкий как мотылек или пыль.

И понимаешь, что никогда не жил там, где не было волны, но у нее другое лицо и другой облик – или утренняя постель, когда в окно деревянного дома падает луч солнца и зажигает выщербленный край зеркала на тумбочке, или ночные мерцающие звери, что идут, осторожно как китайские святые, от одной звезды к другой через все ночное небо.

И ошеломленно видишь, что то, что звал всю жизнь, уже случилось, уже произошло. И сухо ходят по улице люди из перламутра - мертвые и нежные, толкая друг друга лбами, а в небе летит желтый дирижабль. Дитя мое кричишь ты, дитя мое! – и она выходит тебе навстречу, девочка-страшилище с ангельским лицом, белыми руками и чем-то похожим на тянущуюся сеть из затылка. Ах, как ты мечтал танцевать с ней на летней площадке с мелькающими светляками и жестяными звуками выстрелов из тира!

Из затылка выходит эта сеть, почти неуловимая, расширяясь, захватывая пески и высоты, куда не дойти ноге – мелькают в сети серебряные, как жестянки, рыбки, но это не рыбки - свет. Оттуда приходят слова с лицами тюленей и людей, и звуки, твердые,

как кремьень, оттуда - ты сам, сразу весь сам, с младенческим лицом, с натруженными как тетива жилами, с гниющим в земле туловищем.

Дитя мое, дитя мое – девушка, яркая как петух на солнце, бьющаяся под своим платьем, играющая губами, красными и валкими как гребень!

Дитя мое – как же похожа ты на кладбище пещерных медведей – сокровище дальних пещер, как бел клык твой, как неуклюжи слова, пробирающиеся через эту белизну, переваливающиеся, обрастая мной. Разве не твои слова собрали и вырастили меня, играя, когда ты творила этот невыносимый мир!

И те два дерева на металлическом сером фоне, продольном и бесконечном – на одном сидит красная птица, на другом – синяя. За одним - мальчик в коротких штанишках, с грязной кудрявой головой, за другим – голая девочка, с черепом в руке.

Я трогаю перламутровую створку, улавливая ее капилляры языком, я чую руку пустоты, на которую я надет как кукла. Ко мне, тигры и бродячие собаки, ко мне, брат мой сокол, ко мне, друг барбарисовый куст! Ко мне, взволнованное солнце и дохлый бесмертный мальчик с зубами, выбежавшими вперед! Наконец-то я юн, как ты!

Никто не слышит мою тишину! Никто не видит, что от меня осталась летящая в ветре горсть пепла и мерцающая створка ракушки. Они между делом сокрушают мир с его танками, правительствами, нефтью, умниками и ракетноносцами. А вот уже и их не осталось. Какой простор!

## ПРО СОБАКУ

стояла в пасти собаки как изнанка галоши – красная сама себе пасть. Лишние люди окружают собаку, которым она тоже лишняя, но все вместе они – свои, еще у нее в зубах яблоко – вот, спросите вы, откуда у собаки, почти что овчарки, в зубах может быть яблоко, а оно есть, потому что это следующая форма ее внутренней пасти, а следующей может быть туча или человек – ведь все может наполнить собаку не только через глаза, но и через рот, и в этом смысле она, действительно, не отличается от чужих ей людей, потому что такая собака, весьма возможно – единственная форма близости их и мира, ну какого-нибудь отеля в Мозамбике или желудя в Равенне. Какая разница, глаз соединяет руку с рукой или почка соединяет мочеточники с солнцем? Собака может быть почти что сердцем, особенно, если она гулко стучит. Тогда ее маленькое сердце перестает быть отдельным сердцем и увеличивается во всю собаку, а та увеличивается - в вас, а вы - в выдыхаемый воздух.

Если присесть и заглянуть – в глазах собаки две ваши смерти: одна настоящая и вторая тоже – в одном глазу вы, маленький и оптически выгнутый, повернуты к себе лицом, а во втором, тоже маленький и какой-то заплаканный, смотрите в сторону.

Там, в проеме двери, ведущей во внутренность барака, сидит инвалид с белым трофейным аккордеоном на коленях, а на втором этаже в смятой и липкой постели мальчик пытается превозмочь смерть в объятьях кудрявой спортсменки, которая нянчила его и следила за его сном в цинковом корыте, пока он был младенцем. Все это разнесено по видимости во времени и смысле, но так только кажется. И, когда ночью закрываешь глаза, то все равно слышно, как сосновые иголки стучаются о покрытую толем крышу барака, далеко внизу кричит проходящий вдоль моря паровоз, а на первом этаже храпит какая-то женщина.

Так какая разница, что нас объединяет и куда смотрит тот, второй, в глазу у собаки, ведь дело не в этом.

больше он не пытался пересилить жизнь или смерть закатился куда-то как грошик расцвел как роза или сжался в кулак со снежком а музыка играла и стучала в затылок.

У собаки все мускулы воздушные как и у деревьев, вот почему они, да и человек, если на то пошло, двигаются одинаково.

## СВИНЦОВЫЙ БОЛВАН

Вот он стоит, свинцовый и тяжкий болван, лишь бьет по воздуху каждой рукой, как всем телом.

Что ему до оленя, да, до оленя, который летит по воздуху, больше похожий на белого голубя, чем на оленя.

Как им не разорваться, встретившись, слившись воедино, а я скажу как. Как им не разорвать все пространство с реками, баракон, волейбольной площадкой и склоном горы, встретившись, слившись воедино?

Когда разрыв разрывает разрыв, наступаешь ты сам. Тот ты, которого никто не знал, кроме ударившей в окно ночной бабочки или гудка паровоза, долетевшего ночью с побережья, с железной дороги Сочи –Адлер.

Сердце мое – красная вишня с иголками, зачем несут тебя к морю четыре виа, путаясь в веках, вот–вот грохнутся, и земля разойдется.

А луна смотрит на тонкие ветки и светлую гальку побережья с прибоем, удлинняя дома тенью, как откинутой крышкой рояля, и затемняя губы с блеском молочных зубов. Отсвечивает рельса железной дороги – все как в тумане.

Лицо, которое можно увидеть – пропадает раньше, чем появилось, и все же оно и появилось, и пропало. Оно есть прежде тебя. А, значит, не оно, не оно – значит, это ты пропал, прежде, чем появился. Вот что понимаешь, хватаясь за воздух кульями.

Ушко иголки было раньше, чем она, а еще раньше – боль укола.

Склоненный от ветра парус вырос в тебе раньше, чем позвоночник, он-то и выводит твой гроб из-под корней.

Сосед по сарайчику убил такое количество народа в Европе в 1945 году (Бухарест), что боится ехать туда в тур-поездку. Говорит, разорвут на первой же улице. Вы пьете



с ним чачу под луной. Ангелы делают мир неслышным. Вслепую бьет он, свинцовый и тяжкий, руками по воздуху, а лунная тень путешествует по дну оврага, отсвечивая на стенках баков для мазута.

Узнать никого невозможно – вы оба другие всегда.

## СНЕЖНЫЙ СОЛДАТ

*Джерри Сэлнджеру*

Когда снежные птицы летят над снежными солдатами, вмерзшими в наст вместе со своими люггерами и кольтами, снежные деревья не шевелятся в серебристом воздухе. Мысли тоже становятся снежными, и тогда ты вспоминаешь солнечное крыльцо где-нибудь в Аризоне и Джин, смотрящую на тебя снежными глазами, через которые пробивается томительное и неотвязное воспоминание о том, что эти глаза были когда-то другими, вот только не удастся, да и не нужно сейчас, вспомнить о том, какими именно.

Сколько же их вокруг этих смешных и страшных снежных солдат – пулеметы поработали на славу!

А через поле идет маленькая девочка, Анни или Марихен, в алом платье до пят, непостижимым образом не увязая в снегу и перешагивая через снежные головы и ноги, и на плече у нее сидит ручная сова. Прислушайтесь и вы поймете слова быстрой песенки, которую они напевают вместе – сова, курлыча, а девочка – играя звуками в хрустальном горле.

Принято списывать все на восприятие, дескать, это только игра воображения, и что это тоже пройдет, погаснет, как и многое другое. А что если это не пройдет?

Что, если это было с самого начала и другого не будет, а вернее, другое – все эти быстрые теплые поцелуи, посиделки в накуренных кафе, семейные пустяки – всего лишь довесок, необходимый для того, чтобы медленно подвести тебя к единственной и неизменяемой твоей жизни – с девочкой в алом платье и совой на плече, жизни со снежными солдатами, увидеть которых может не всякий, а лишь другой снежный солдат. Правда, найти и нащупать себя среди них все равно не удастся, ты знаешь, что ты есть, но не знаешь, где именно.

У некоторых снежных людей обнажены руки и животы – когда-то давно им пытались оказать первую помощь. Снежная луна заглядывает теперь во все окна, во все номера гостиниц.

Смешно спрашивать, что будет делать девочка, когда перейдет поле – не может же она, в самом деле, пресекать его без конца.

Но она не перейдет поле, потому что в нем, в этом поле, свершаются ее начала и ее концы, и она будет жить тут полной жизнью, ничем не отличимой от нашей с вами, - жить всегда.

Все что тут можно сделать – попытаться понять слова ее леденцовой песенки, а вдруг среди них таится твоё настоящее имя.

## ТОВИЙ

Он был словно из бумаги, словно из папиросной бумаги его сделали – в белых кроссовках на слабых ногах, все загребал воздухом, двигал его, как мыльную пленку для пузырей, такая же подрагивала у него в ухе, которым он слышал мир.

У него была рыжая лиса на поводке, с короткими как у таксы лапами – они путешествовали по миру, и лиса лаяла на все, в чем таилась красота и гниль. Она не лаяла на красоту отдельно или на отдельную гниль, но только видя их вместе.

Раньше она была серафимом и создавала планеты и выпуклые миры, в которых играли, трудясь, другие законы, а теперь стала зверем с тонким нюхом.

А он ходил по миру и слышал то, что другие люди пропускают мимо ушей, например звон стеклянных шаров воздуха, из которых состоит жизнь внутри сердца и легких. Может, он слышал и червяков, заползающих в закопанную рапану, а, может, и спои неба, играющие солнцем, для него это было, как жить, и сам он был сланцевый и слабый, вечно его шатало от невидимого ветра и сильного земного притяжения.

Лиса последнее время лаяла редко, а он стал улетать, не справляясь с потоками воздуха, заворачивающего его, словно в навощенную бумагу, в слои ворсистого света от плотнеющих в небе звезд.

Лиса несла на спине огромную рыбу, а та говорила ему, что делать, когда невеста захочет его сожрать во время первого соития. Рыба говорила все время, но он ее не слышал, потому что, как только рыба начинала говорить, лиса лаяла.

У невесты было огромное белое тело, такой белой красоты, какой не знала ни луна, ни парусник, ни брюхо беззащитной рыбы. Он жил с ней, как в ветре и глине – как человек или птица.

Когда он остался один, то однажды, исполняя сострадания, он, умерший, встал со своего скорбного ложа, впустил когти силы в угасшую жизнь и похоронил свое тело в бедной могиле, как научил его погребавший бездомных странников отец.

## СКАЖЕШЬ ЗЕМЛЯ

Голубь не есть имя голубя. Имя голубя не есть имя голубя. Голубь с головой – одно имя, а голова без голубя – другое. Помню тебя, стоящей на холме с выжженным пятном кострища на зеленом скате, на главе твоей есть голубь – дальше в тумане виселица с выклеванным глазом разбойника.

Серый глаз это серый глаз голубя и мамы. Они отличны эти два, то есть один глаз – он, этот глаз есть глаз голубя и мамы, он отличен сам от себя и потому не может быть сам себе постоянным именем.

Мама и голубь тоже отличны, но крыло голубя, истонченное в вуалетку, может закрывать ей глаза, доставая до носа. Их можно наречь одним именем, если сам сумеешь им быть. Это надо расплыться, как мыло, растечься, как воск и скрепить. Имя мамы – ма, а потом – трава и птица. Имя, рождающее на свет – ма, имя, уводящее со света – тму.

Чтобы назвать, надо разъединиться собой и снова войти. Чтобы назвать губы надо их потерять. Чтобы – ноги, увидь культю, чтобы ласточку – вынь свое горло.

Красный костер и белый снег. Рога лося – имя волны Хокусая. Рога лося – то, чем станет твой побег от картофеля к звезде – впалой без рубахи грудью, хватающей отростком набегающий воздух.

Имя спрятано во мне, но меня нет в имени. Поэтому-то я и таю, как лед, ибо пропасть – назвать. Алфавит суть кости, а речь – кровь. Вот и иди на костер, скажешь земля.

## ШАР / В ПАМЯТЬ О

Я стою около шара, его не вложишь в руку. На нем не удержишься, его не выразишь. Не обнимешь, не вместишь. Зачем по утрам я натягиваю на себя рваную майку и курю дешевые сигареты. Зачем с воплем полосуя руку бритвой, и бутылка с красным вином переносит меня ближе к серебряному телу в мужском пиджаке.

Стеклянные псы грызут запястья стеклянного Лазаря. Пахнет масляной краской, обнаженные тела светятся с холстов.

Я скажу тебе Ы вместо шара, я скажу тебе гексаграмму «свершение» вместо шара. Посмотри, как в нем дрейфуют вырванные языки, полные букв, как колбы – спирта и головастики. А еще был старый еврейский художник в огромной дохе, он шел к тебе и из тысяч карманов дубленки смотрели бесконечные глаза, частью погасшие, частью прозревшие, какие-то шkodливые красные языки. Его звали Евгений, он был сед.

Если рыбу вынуть из воды – застынет стеклянный пузырь, если человека из жизни – затвердеет весной сирень.

У художника висела на боку финка, память о бесславной войне.

Все мы тогда катали стеклянные шары, не замечая, но они не двигались с места.

Луна светила в нас, в твоих темных губах блуждали буквы, и ты еще не говорила хриплым басом.

В кухне над коммунальной плитой плавал Шагал, вдетый пальцем в палитру, как в петлю воздушного шара, и с ним жена его друга под потолком, с желто-седыми волосами, и пахло прогорклым маслом, со стадиона в окне отзванивали беговые коньки.

Ужас это форма блаженства – смотри, как бегают эти маленькие крысы через дорогу, поблескивая зубами. Может быть, они прогрызут путь от тебя ко мне.

На полу в лунном свете – жабры без рыбы и воздух без легких. Бутылка «гамзы» и гребок в воде локтем вверх. У клинка в ножнах не бывает рук, у двух тел в длину не бывает двух тел.

И ты думаешь, что лежишь, не двигаясь, но похож на вывернутую внутрь тысяченожку, работающую себя и пространство внутренним бегом, как многовесельная байдарка, что уплывает веслами внутрь. Не изменяясь снаружи – все дальше и дальше, к рощам, ступенькам и источникам. Вот вовсе исчезла. Не заметил никто.

Рука – вывернутая тысяченожка, берущая внутрь, и нога - тысяченожка, бегущая внутрь, и ребра, растаяв, когтящие - шар.

Шар.

## ЯСТРЕБ

Ястреб вспыхивает, как фонарь в тумане. Что ты продаваешь под рубашку, если не себя самого – все эти складки, мышцы, извилины – каждый раз, как будто в легкую землю? Куда продает себя ястреб со всеми своими перьями, теплыми в трубках, пульсирующими внутренней кровью – стакан крови, взятый в изгиб оперенья, брошенный в воздух? Между кровью и кровью умещается человек и ястреб, как между губой и губой – дыханье и слово.

Что в нас вложено, что примирило нас с внутренним ужасом и внешним распадом – какое крыло?

Вы видели, как могила шевелит губами, выговаривая человека, заклиная его, не сделать ей зла? Какой ястреб ныряет в нас, как в небе, горячит и освежает кровь, заглядывает в глаза, говорит: не горюй! Что за птица заставляет нас жить, забыв, что мы черви и плесень, что за клекот? Что за веселый крик слышится, когда ты идешь в тумане, и у автостоянки горят фонари!

Как будто несли сильные лодку на плечах с небом и человеком, лежащим в ней. И когда ты кричишь и ликуешь, исчезают лодка и люди, и тот, кто в лодке, и остается отдельное место, где они только что были – горячее, нестерпимое, вечное!

Крикни, птица, и я значу новое небо, вынуд его из-под твоих перьев, стеклянное, говорящее, блаженное в повороте!

Из себя в себя перелит ты, как небо и дирижабль.

Тупое бревно воздуха бьет тебя в грудь, и ты кричишь, теряя перья, и хлопаешь крыльями, пока выпуклые череп, парус и лепесток ерзают, не совпадая с собой. И дева идет в море – меж затылком и пяткой вся из пинг-понговых мячиков.



**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ**  
**СЕРИЯ «ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ»**

**Андрей Тавров**  
Снежный солдат:  
книга стихотворений в прозе

**[www.lulu.com](http://www.lulu.com)**  
**[www.promegalit.ru](http://www.promegalit.ru)**

Подписано в печать 21.02.2016 г.  
Формат: 148х148 1/16  
Тираж: 400 экз.